



Светлана Дроздова

**Легенда о
Зеркальном
Королевстве.
Книга 7**

Светлана Дроздова

**Легенда о Зеркальном
Королевстве. Книга 7**

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 7 / С. В. Дроздова —
«Автор», 2026

В пустом мире, умирающем от скверны и лживых зеркал, Эйнар, известный как Зеркальный Пророк, ведёт отряд «Серых Волков» к последнему рубежу — Чёрному Пику. Лишившийся руки и заплативший частицей собственной памяти, он должен остановить порождения пустоты, которые крадут лица и имена живых. Книга открывается ночной атакой двойников — точных копий людей, не знающих пощады. Герои отступают к таинственному Монастырю Семи Зеркал, где надеются найти оружие.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 7

ГЛАВА 1. НОЧНОЙ КРИК

Часть первая. Тишина перед трещиной

I

Лагерь разбили в низине, где ветер дул с трёх сторон сразу, но не приносил ничего, кроме холода. Эйнар не спал. Это давно перестало быть событием — его бессонница стала такой же привычной, как собственное дыхание, как пульсация Стекла за спиной, как шёпот пыли, которую никто, кроме него, не слышал. Но в эту ночь тишина была другой. Не той, давящей, которая ждала в расщелинах и катакомбах, и не той, звенящей, которая предшествовала битве. Тишина была странной, неправильной, как будто мир затаил дыхание перед тем, как сказать что-то, чего никто не хотел слышать.

Он сидел на плоском камне у затухающего костра, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и смотрел на огонь. Угли пульсировали — в такт его сердцу, в такт Стеклу в контейнере за спиной Альрика, в такт той песне, которую пела пыль. Пыль пела всегда. Теперь она пела громче. И в её песне слышались новые ноты — не тоскливые, не горькие, а какие-то... нетерпеливые. Как будто что-то приближалось. Как будто что-то уже было здесь.

Ирис спала у его ног, свернувшись калачиком, поджав колени к животу, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете умирающих углей. Под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни. Она не спала уже вторые сутки. Или третьи. Он сбился со счёта. Давно. Ещё в горах, когда они уходили от погони, и снег шёл так густо, что нельзя было разглядеть собственной руки.

Эйнар смотрел на неё, и в груди — там, где пустота пела свою тихую, тоскливую песню — что-то шевельнулось. Не боль — тревога. Слишком тихо. Слишком спокойно. Слишком правильно. После того, как они разбили лагерь, никто не вышел в дозор с той стороны — восточной, где дорога уходила в лес. Лис отправила туда двоих. Они не вернулись. Просто исчезли. Как сквозь землю провалились. Или как в зеркало шагнули.

Он поднялся, опираясь на посох. Ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он стоял. Он стоял. Это было главным. Он посмотрел на свои руки — правую, стеклянную, прозрачную, пульсирующую холодным голубоватым светом, и левую, ещё человеческую, но уже покрытую тонкими серебристыми трещинами, которые появились после спуска в Нижний Колодец. Трещины не болели. Они говорили. Говорили голосами тех, кто лежал в каменных урнах, тех, кто ушёл в пустоту и не вернулся, тех, чьи имена были стёрты временем, но не памятью камня.

«Что-то придёт», — шептали трещины, когда он сжимал пальцы. «Что-то уже пришло». Он не ответил. Не мог. Не знал.

II

Лис сидела на возвышении в двадцати шагах от лагеря, её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в темноте, как уголь, как лезвие, как надежда. Она не спала. Никогда не спала в дозоре. Спать в дозоре — значит умереть. Её учили этому в первый же день, когда она взяла в руки нож. Старый разведчик с лицом, изрезанным шрамами, сказал тогда: «Лис, ты не человек. Ты — глаз. Глаз не спит. Глаз смотрит. Глаз помнит. А если глаз закрывается — его владелец слепнет. А слепых убивают первыми».

Она помнила эти слова. Помнила каждый день. Каждую ночь. Каждый раз, когда тьма сгустилась, и из неё начинали рождаться звуки, которых не должно было быть.

Сегодня звуки были неправильными. Не было слышно ночных птиц. Не было слышно ветра в кронах деревьев. Не было даже собственного дыхания — оно тонуло в чём-то тяжёлом, вязком, почти живом. Лис прислушалась. Ничего. Абсолютно ничего. Тишина давила на уши, как вода на глубине.

Она скользнула взглядом по периметру. Западный дозор — двое, оба на месте, факелы горят, тени пляшут. Северный — трое, костёр, слышен приглушённый разговор. Южный — трое, один спит, двое бодрствуют. Восточный... Восточный дозор молчал. Лис ждала. Считала удары своего сердца. Раз, два, три, четыре, пять. Десять. Двадцать. Пятьдесят. Ни звука.

Она тихо спустилась с возвышения, не поднимая тревоги. Не хватало паники. Паника в лагере убивает быстрее любого врага. Она подошла к шатру Эйнара — серому, потрёпанному, с заплатками, которые Ирис наложила ещё в Терновой Гриве. Эйнар стоял у входа, опираясь на посох. Он уже был на ногах. Он уже знал.

— Восточный, — сказала Лис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я не слышу их уже полчаса. Они не отвечают на сигналы. Может быть, заснули. Может быть... что-то другое.

Эйнар смотрел на неё долго, изучающе. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Он кивнул. Не сказал ни слова. Взял посох и пошёл к восточному краю лагеря. Лис — за ним, бесшумно, как тень, как призрак, как память.

III

Ирис проснулась не от звука — от отсутствия звука. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в неё Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад. Она села, протёрла глаза. Эйнара не было рядом. Посох исчез. Лис не было на возвышении. Только потухающие костры, только спящие люди, только контейнер со Стеклом у ног Альрика, который дремал, привалившись спиной к холодному валуну.

Она поднялась, накинула плащ. Ноги не слушались — затекли от долгого лежания на холодной земле. Она пошла к восточному краю лагеря, туда, где горел факел дозорных. Факел горел. Но дозорных не было. Двое мужчин — молодой парень с рыжими волосами и пожилой

воин с седой бородой — исчезли. Только их оружие лежало на земле: меч, копьё, нож. Ни крови. Ни следов борьбы. Ничего. Как будто они просто растворились в воздухе. Или как будто их никогда не было.

Ирис нагнулась, подняла нож — старый, потёртый, с чёрной рукоятью, с инициалами, выцарапанными на лезвии. «Х.Р.» — Харальд, сын Рагнара. Его отец умер в лагере Гарма, когда скверна сожрала его заживо. Харальд поклялся отомстить. И теперь его нож лежал в её руке, а сам он исчез, не оставив даже следа.

Она сжала рукоять. Металл был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. И в этом холоде, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Ирис стало страшно. Не перед смертью — перед тем, что она не понимала. Она всегда понимала. Она была целительницей. Она чувствовала боль, страх, надежду. А здесь — ничего. Только пустота.

Она повернулась и пошла дальше, туда, где тени становились длиннее, а тишина — тяжелее.

IV

Эйнар нашёл первого дозорного у старого, замшелого камня, который служил естественной стеной для восточного поста. Человек лежал на земле, его лицо было обращено к небу, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — застыл ужас. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Ужас перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть.

Горло было перерезано — от уха до уха, глубоко, почти до позвоночника. Но крови не было. Ни капли. Как будто кто-то выпил её, или она испарилась, или её никогда не было. Рана зияла, чёрная, маслянистая, и из неё, из этой бездны, пульсировал слабый, голубоватый свет. Свет, который Эйнар знал слишком хорошо. Свет Стекла. Свет пустоты. Свет платы.

Лис стояла рядом, сжимая нож, и её единственный глаз был острым, почти безумным. Она не боялась смерти. Она боялась неизвестности. А здесь было слишком много неизвестного.

— Его убили не мечом и не ножом, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Рана слишком ровная. Слишком чистая. Как будто... как будто её нарисовали. Как будто кто-то провёл пальцем по коже и сказал: «Здесь будет разрез». И разрез появился. Я не знаю, кто это сделал. Я никогда не видела ничего подобного.

— Я видел, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть знания. Тяжесть памяти. Тяжесть пустоты. — В Зеркальном Склепе. Там, где отражения умирали тысячами, и смерть их была не физической — метафизической. Но физические тела оставались целыми. А здесь... здесь убито тело. Но не душа. Душа исчезла. Или её не было. Или её забрали.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Лис смотрела на него, и в её единственном глазу было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Вопрос. Она хотела спросить: «Кто?», «Зачем?», «Почему?». Но не спросила. Не успела.

Потому что из темноты донёлся звук.

У

Звук был тихим, почти неуловимым — как шорох листьев, когда ветра нет, как скрип старой двери, которую не открывали века, как дыхание спящего, когда ты не знаешь, жив ли он. Но Эйнар узнал его. Он слышал этот звук в Нижнем Колодце, когда спускался к урнам с костями. Он слышал его в Зеркальном Склепе, когда отражения умирали тысячами. Он слышал его в зале Хранителя, когда иллюзия счастья разбилась о правду, и правда оказалась тяжелее лжи.

Это был звук шагов. Не человеческих. Не звериных. Шагов того, кто не касается земли, потому что он сам — пустота. Того, кто не оставляет следов, потому что следы — это память, а у него нет памяти. Того, кто не дышит, потому что дыхание — это жизнь, а он — смерть, которая забыла, что такое умирать.

Лис рванулась вперёд, нож наготове. Эйнар успел схватить её за плечо — левой рукой, покрытой серебристыми трещинами, пульсирующей тупой, ноющей болью. Он сжал пальцы, и она замерла. Не от боли — от того, что увидела.

Из темноты вышел человек. Он был высоким, широкоплечим, в лёгких, кожаных доспехах, которые носили разведчики «Серых Волков». Его лицо было бледным, почти прозрачным в свете факелов, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Не было надежды. Не было усталости. Была пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Это был Харальд. Тот самый, чей нож лежал в руке Ирис. Тот, кто поклялся отомстить за отца. Тот, кто исчез с поста полчаса назад. Он был жив. Или не жив — не мёртв. Что-то между.

— Харальд! — крикнула Лис, и голос её прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Ты жив? Что случилось? Где второй?

Харальд не ответил. Он смотрел на Эйнара. В его глазах — пустых, светлых, с точечными зрачками — не было узнавания. Не было памяти. Не было имени. Только пустота. Он сделал шаг вперёд. Его нога коснулась земли, но не оставила следа. Он сделал второй шаг. Его рука — правая, сжимавшая меч — поднялась. Меч был старым, потёртым, с инициалами «Х.Р.» на лезвии. Тем самым, который только что держала Ирис. Эйнар перевёл взгляд на нож в руке Ирис. Металл блеснул в свете факелов. Инициалов не было. Они исчезли. Как будто их никогда не существовало.

— Это не Харальд, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Это его отражение. Или не отражение — копия. Или не копия — пустота, которая приняла его облик. Я не знаю. Я знаю только, что оно хочет убить.

Часть вторая. Стекло против стекла

VI

Первая стрела прилетела из темноты. Не из лука — из ниоткуда. Из пустоты, которая сгустилась за спиной Харальда-двойника, как облако, как туман, как память. Стрела была чёрной, маслянистой, пульсирующей. Она летела прямо в грудь Эйнара. Он не успел отшатнуться — не мог, ноги не слушались, руки дрожали, сердце колотилось где-то в горле.

Лис успела. Она прыгнула, оттолкнула его плечом, и стрела вонзилась в камень, где только что была его голова. Камень треснул — не от удара, от прикосновения. Чёрная, маслянистая трещина поползла по его поверхности, как корень, как вена, как трещина на Стекле. Камень не раскололся — он умер. Стал серым, трухлявым, рассыпался в пыль. Пыль запела — высоко, тоскливо, почти по-человечески. Песня оборвалась, как только Лис наступила на неё сапогом.

— Не стреляйте! — крикнул Эйнар, и голос его прорвал тишину. — Стрелы не помогут! Они — не люди! Они — пустота! Стрелы проходят сквозь них! Мечи не ранят! Только Стекло! Только память! Только имя!

Харальд-двойник сделал ещё шаг. Его рука — правая, сжимавшая меч — дрожала. Не от страха — от того, что внутри него, в этой пустоте, в этой глубине, в этом ожидании, что-то боролось. Что-то, что помнило. Что-то, что не хотело убивать. Что-то, что ещё было человеком.

— Харальд, — сказал Эйнар, и голос его стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как молитва. — Ты помнишь отца? Ты помнишь, как он умирал? Ты помнишь, как клялся отомстить? Ты помнишь своё имя? Ты — Харальд. Сын Рагнара. Ты — не пустота. Ты — человек. Помни. Помни, кто ты.

Двойник замер. Его лицо — бледное, почти прозрачное — исказилось. Не боль — борьба. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — мелькнуло что-то живое. Искра. Память. Имя. Он открыл рот, пытаясь сказать что-то. Из его горла вырвался не звук — хрип. Сухой, рваный, почти нечеловеческий. А потом — треск. Его правая рука, сжимавшая меч, стала прозрачной. Стеклой. Как у Эйнара. Только чёрной. Маслянистой. Пульсирующей. Он посмотрел на свою руку, и в его глазах — пустых, светлых, с точечными зрачками — появился страх. Настоящий. Животный. Человеческий. Он увидел себя. И испугался.

А потом — его лицо рассыпалось. Не постепенно — рывком. Как рассыпается старая, высохшая земля, когда её сжимают в кулаке. Кожа, мышцы, кости — всё стало пылью. Серой, маслянистой, мёртвой пылью, которая запела — громко, отчаянно, почти болезненно. Пыль пела о том, кто помнил. О том, кто не сдался. О том, кто заплатил. Но не выжил.

Эйнар стоял, глядя на то, что осталось от Харальда, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Была усталость. Такая же глубокая, такая же тяжёлая, такая же безнадежная, как у тех, кто лежал в урнах Нижнего Колодца.

— Я не спас его, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была боль. — Я только напомнил ему, кто он. Но напоминание убило его быстрее, чем пустота. Потому что он увидел себя. Настоящего. И не выдержал.

VII

Второй дозорный — рыжий парень, которого звали Торкель, — нашёлся у шатра с зеркалом. Он стоял на коленях, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не двигался. Не дышал. Не моргал. Он смотрел в зеркало, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — отражалась не его комната, не его лицо, не его страх. Отражалась пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

А из зеркала — из его чёрной, маслянистой глубины — выходил двойник. Не Харальда. Торкеля. Высокий, широкоплечий, с рыжими волосами и веснушками на щеках. Только глаза были чужими — пустыми, светлыми, с точечными зрачками. И руки — слишком длинные, слишком тонкие, с неестественными пропорциями. Он шагнул из зеркала, как шагают в воду — плавно, бесшумно, неотвратно. Его ноги коснулись каменного пола, но не оставили следа. Его тень упала на стену, но тень была не его — чужая, длинная, тонкая, с неестественными пропорциями.

Лис замерла у входа в шатёр. Её нож был наготове, но она не знала, куда бить. В грудь? В голову? В сердце? У этого существа не было сердца. Не было груди. Не было головы в человеческом понимании. Была только форма. Только подобие. Только ложь, которая притворялась правдой.

— Торкель! — крикнула она, и голос её прорвал тишину. — Торкель, очнись! Это не ты! Это пустота! Не смотри в зеркало! Не смотри на него!

Торкель не ответил. Не повернулся. Не моргнул. Он смотрел в зеркало, и его губы шевелились, произнося одно и то же слово. «Кто я? Кто я? Кто я?». Он забыл. Или пустота забрала его память. Или он сам отдал её, потому что устал помнить.

Эйнар вошёл в шатёр. Увидел Торкеля на коленях. Увидел двойника, который стоял у зеркала и смотрел на него своими пустыми глазами. Увидел своё отражение в глубине зеркала — не таким, каким он был, а другим. Молодым. Сильным. Целым. С руками, которые не были стеклянными. С глазами, которые не видели смерти. С именем, которое не исчезало.

— Уходи, — сказал он двойнику, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Уходи, пока я не приказал стрелять.

Двойник не ответил. Он сделал шаг вперёд. Его рука — длинная, тонкая, с неестественными пропорциями — протянулась к Торкелю. К его шее. К тому месту, где пульсировала жизнь. Эйнар успел. Он не знал, как. Не помнил. Не думал. Он просто шагнул вперёд, подставил левую руку — покрытую серебристыми трещинами, пульсирующую — под удар.

Пальцы двойника коснулись его запястья.

Холод.

Не такой, как в Зеркальном Склепе, где холод был отсутствием тепла. Другой. Холод, который был присутствием чего-то другого. Чего-то, что было раньше. Чего-то, что помнило то, что забыли боги. Чего-то, что ждало своего часа.

А потом — свет. Серебристые трещины на левой руке Эйнара вспыхнули ярким, голубоватым светом. Двойник замер. Его пальцы — длинные, тонкие, с неестественными пропорциями — начали таять, как дым, как тень, как память, которая умирает. Он не кричал. Не звал на помощь. Он смотрел на свою исчезающую руку, и в его пустых глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — появилось что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Удивление. Он не ожидал, что кто-то сможет коснуться его. Не ожидал, что кто-то заплатит. Не ожидал, что кто-то помнит.

Двойник исчез. Не постепенно — рывком. Как исчезает дым, когда ветер разгоняет его. Как исчезает память, когда некому её помнить. Как исчезает имя, когда его стирают с могильной плиты.

Зеркало треснуло. Трещина пошла от края до края, деля отражение на две неровные половины. В треснутом отражении Эйнар увидел не себя — пустоту. Абсолютную, всепоглощающую, без границ, без оттенков, без дна. И в этой пустоте, в этой глубине, в этом ожидании, он увидел тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

VIII

Ирис вбежала в шатёр, когда двойник уже исчез. Увидела Эйнара, стоящего перед треснувшим зеркалом. Увидела Торкеля, который сидел на полу, сжавшись в комок, и его лицо было мокрым от слёз. Увидела Лис, которая сжимала нож так, что костяшки побелели. Увидела Альрика, который стоял у входа с контейнером, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Что случилось? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Они пришли, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Двойники. Отражения, которые стали реальностью. Они убили Харальда. Они пытались убить Торкеля. Я не знаю, сколько их. Я не знаю, откуда они. Я знаю только, что они — не люди. Они — пустота, которая научилась копировать. Копировать лица. Копировать имена. Копировать память. Но они не могут копировать душу. Потому что у них нет своей.

Торкель поднял голову. Его глаза были красными, опухшими, и в них — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был страх. Не перед смертью — перед тем, что он видел. Перед тем, что он мог стать. Перед тем, что его отражение было таким же живым, как он сам. Или более живым. Или менее мёртвым. Он не знал. Он знал только, что оно смотрело на него, и в его глазах была пустота. Такая же, как в его собственных глазах, когда он смотрел в зеркало по утрам и не узнавал себя.

— Я видел себя, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание. — Я видел себя, но это был не я. Это был кто-то

другой. Кто-то, кто знал мои мысли. Мои страхи. Мои надежды. Кто-то, кто хотел занять моё место. Он сказал... он сказал, что я не нужен. Что он будет лучше. Что он не будет бояться. Что он не будет сомневаться. Что он не будет помнить.

— Что ты ответил? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— Ничего, — ответил Торкель, и он опустил голову. Его плечи дрожали — не от холода, от того, что он сдерживал слёзы. Или не сдерживал — позволял им течь. Какая разница? — Я не мог говорить. Я забыл слова. Я забыл, кто я. Я забыл, зачем я здесь. Я только смотрел и ждал. Ждал, когда он убьёт меня. Или я убью его. Или мы исчезнем вместе. Какая разница?

— Никакой, — сказал Эйнар, и он опустился на корточки перед Торкелем. Посмотрел в его глаза. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было жалости. Было что-то другое. Понимание. — Ты жив, Торкель. Ты помнишь. Ты — человек. Твой двойник исчез. Не потому, что я сильнее. Потому, что ты не сдался. Ты не перестал быть собой. Даже когда забыл, кто ты. Ты продолжал искать. Ты продолжал спрашивать. Ты продолжал помнить. Это спасло тебя. Не я — ты.

Часть третья. Знак и молчание

IX

Лагерь проснулся. Люди выходили из палаток, из-за камней, из-за повозок, и их лица были бледными, усталыми, почти прозрачными. Они не знали, что случилось. Они боялись. Они ждали. Они надеялись. Эйнар стоял в центре лагеря, у потухшего костра, и его стеклянная рука — прозрачная, пульсирующая, чужая — лежала на груди, там, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно.

Ворн и Рагнар подошли первыми. Их лица были бледными, почти белыми, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Они не спрашивали, что случилось. Они знали. Слышали. Видели. Им доложила Лис, пока Эйнар разговаривал с Торкелем.

— Двое убитых, — сказал Ворн, и голос его был низким, рокоchущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Харальд мёртв. Торкель жив, но не знает, что с ним будет дальше. Скверна коснулась его. Я видел. Его тень стала длиннее. Его глаза стали пустее. Он уже не тот, кем был. Он уже наполовину пустота.

— Он человек, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Он человек. Пока он помнит, кто он. Пока он называет своё имя. Пока он не сдаётся. Мы не бросим его. Мы не оставим его. Мы поможем ему. Как помогли бы любому из нас.

— А если он станет двойником? — спросил Рагнар, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Если он превратится в то, что напало на нас? Если он начнёт убивать своих? Что тогда? Ты убьёшь его? Ты сможешь?

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я не знаю, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я знаю только, что я должен попытаться. Потому что если не я — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Пустой. А Пустые не сдаются. Они платят. Они помнят. Они идут.

Х

Альрик подошёл к зеркалу. Оно стояло в шатре, треснутое, почти разбитое, и его поверхность была чёрной, маслянистой, пульсирующей. В нём ничего не отражалось. Только пустота. Только ожидание. Только страх. Он протянул руку — тонкую, бледную, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — и коснулся трещины. Пальцы встретили холод. Не такой, как в Зеркальном Склепе, где холод был отсутствием тепла. Другой. Холод, который был присутствием чего-то другого. Чего-то, что было раньше. Чего-то, что помнило то, что забыли боги. Чего-то, что ждало своего часа.

— Это не просто зеркало, — сказал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Это дверь. Дверь в пустоту. Ту самую, где ждёт Наблюдатель. Корвус открыл эту дверь много лет назад. Он заглянул внутрь. И пустота заглянула в него. Теперь он учит пустоту копировать. Копировать лица. Копировать имена. Копировать память. Он создаёт двойников. Солдат, которые не чувствуют боли. Не чувствуют страха. Не чувствуют ничего. Идеальные убийцы. Идеальные тени. Идеальная пустота.

— Как их остановить? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— Стеклом, — ответил Альрик, и он посмотрел на Эйнара. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего никто не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Решение. — Только Стекло может отразить пустоту. Только Стекло может напомнить двойникам, кто они. Только Стекло может заставить их увидеть себя. А когда они увидят себя — они рассыплются. Как рассыпался двойник Харальда. Как рассыплются все они. Но для этого Эйнар должен коснуться Стекла. Должен заплатить. Должен помнить. Должен идти.

— Я заплачу, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я заплачу, как платил всегда. Своей памятью. Своим временем. Своим именем. Я — Пустой. А Пустые не сдаются. Они платят. Они помнят. Они идут.

ХІ

Ирис не спала. Сидела у входа в шатёр, сжимая в руке нож Харальда — старый, потёртый, с инициалами, которые исчезли и появились снова, когда двойник рассыпался. Металл был холодным, почти ледяным, и в нём, в этой глубине, в этом ожидании, она не видела ничего. Только пустоту. Но пустота не пугала её. Пустота была лучше, чем ложь. Лучше, чем приказы. Лучше, чем рабство.

Она вспомнила Терновую Гриву. Тот день, когда Эйнар стоял на коленях у ворот, и никто не открывал. Тот день, когда она впервые увидела его без отражения. Тот день, когда она поняла, что он — не чудовище. Он — человек. Просто человек, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Она не испугалась тогда. Не отшатнулась. Не убежала. Она подошла, села рядом, положила голову ему на плечо. И с тех пор не уходила. Не могла. Не хотела. Он стал её пустотой. Её памятью. Её именем.

— Ты не спишь, — сказал Эйнар, садясь рядом. Его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была усталость — глухая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражался и не знал, когда это кончится.

— Не сплю, — ответила она, и она взяла его за руку — левую, покрытую серебристыми трещинами, пульсирующую. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

— Ты боишься? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как вопрос, на который она боялась услышать ответ.

— Нет, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я уже боюсь. Я боюсь не смерти — двойников. Боюсь, что завтра мы проснёмся, и нас будет больше, чем вчера. Боюсь, что наши отражения восстанут против нас. Боюсь, что мы перестанем узнавать себя в зеркалах. И тогда — кто мы? Пустота? Память? Имя?

— Ты — Эйнар, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Ты — Эйнар. Зеркальный Пророк. Ты — тот, кто смотрит в пустоту и не отводит взгляд. Ты — тот, кто помнит. Даже когда всё остальное исчезает. Я не боюсь двойников. Я боюсь, что ты перестанешь быть собой. Но ты не перестанешь. Я знаю. Я чувствую. Я помню.

Она сжала его руку крепче. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слёзы. Она не вытирала их. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что не могла остановить эту плату. Не могла взять её на себя. Не могла умереть вместо него. Она была целительницей. Она должна была лечить, спасать, возвращать к жизни. Но здесь, в этой тишине, в этом ожидании, она была беспомощна. Беспомощнее, чем любой раненый, любой умирающий, любой ребёнок, потерявший мать в толпе.

— Не плачь, — сказал он, и он поднял левую руку, коснулся её щеки. Пальцы были холодными, почти ледяными, и она чувствовала, как трещины пульсируют под его кожей, как имя исчезает, как память умирает. Но она не отстранилась. Не испугалась. Не заплакала ещё сильнее. Она просто смотрела на него, и в её глазах была любовь. Такая же огромная, такая же полная, такая же абсолютная, как его пустота.

— Я не плачу, — сказала она, и она улыбнулась — грустно, почти прощально, почти невидимо. Но улыбнулась. — Я помню. Я помню, кто ты. Я помню, откуда ты пришёл. Я помню, куда ты идёшь. Я помню. Этого достаточно.

ХII

Эйнар приказал собрать все зеркала на рассвете. Люди приносили их из палаток, из повозок, из личных вещей — маленькие, большие, старые, новые, треснутые, целые. Они складывали их в кучу у восточного края лагеря, и зеркала блестели в свете утреннего солнца, как тысяча маленьких, пустых глаз. Эйнар стоял перед этой кучей, опираясь на посох, и его стеклянная рука — прозрачная, пульсирующая, чужая — лежала на груди, там, где под рубахой билось сердце.

— Разбить всё, кроме одного, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Оставьте самое маленькое. То, которое можно спрятать. Через него мы будем смотреть. Через него мы будем слушать. Через него мы будем помнить. Остальные — в пыль.

«Серые Волки» взялись за дело. Мечи, топоры, молоты — зеркала трескались, разлетались на осколки, рассыпались в пыль. Пыль пела — громко, отчаянно, почти болезненно. Пыль пела о том, кто разбивал отражения. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

Альрик спрятал последнее зеркало в свой мешок. Маленькое, бронзовое, с потускневшей поверхностью. Он не знал, зачем оно им. Не знал, поможет ли. Не знал, принесёт ли больше вреда, чем пользы. Он знал только, что Эйнар сказал оставить. А он верил Эйнару. Как верил Стеклу. Как верил пустоте. Как верил памяти.

— Зачем мы оставили это? — спросила Лира, подходя к Эйнару. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Был вопрос.

— Чтобы помнить, — ответил Эйнар, и он посмотрел на неё. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — была правда. Та самая, которую он нёс с рождения. Та самая, которую он принял, как судьбу. Та самая, которая была тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты. — Чтобы помнить, что у нас есть враг. Что он смотрит на нас из каждого отражения. Что он ждёт. Что он не спит. Что он не забывает. Чтобы помнить, что мы не должны смотреть в зеркала слишком долго. Иначе мы увидим не себя — его. А когда увидим его — он увидит нас. И тогда — конец. Или начало. Какая разница?

— Никакой, — сказала Лира, и она опустила голову.

ХIII

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар сидел у потухшего костра и смотрел на своё отражение в ложке. Ложка была старой, потёртой, с тёмными пятнами на поверхности, но она ещё отражала. В её глубине, в этой маленькой, выпуклой поверхности, он увидел своё лицо — бледное, усталое, почти прозрачное. С глазами — серыми, усталыми, с красными прожилками на белках. С руками — стеклянной и треснутой. С именем, которое исчезало.

А потом — за своей спиной — он увидел тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё. Но теперь её рука была не на плече — на его стеклянной руке. Пальцы — длинные, тонкие, с неестественными пропорциями — обхватили его запястье, и он почувствовал холод. Не такой, как в Зеркальном Склепе, где холод был отсутствием тепла. Другой. Холод, который был присутствием чего-то другого. Чего-то, что было раньше. Чего-то, что помнило то, что забыли боги. Чего-то, что ждало своего часа.

— Наблюдатель, — прошептал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как утверждение. — Ты здесь. Ты всегда здесь. Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?

Тень не ответила. Только рука на запястье стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только песня пыли стала громче.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

«Завтра мы идём дальше, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Завтра мы идём к Чёрному Пику. К Корвусу. К ответу. К двойникам, которые ждут нас. Я не знаю, что будет. Я не знаю, выживу ли я. Я не знаю, увижу ли завтрашний закат. Я знаю только, что я должен идти. Потому что если не я — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Пустой. А Пустые не сдаются. Они платят. Они помнят. Они идут».

Он открыл глаза. Тень исчезла. Ложка упала из руки, звякнула о камень, покатилась в темноту. Эйнар остался один. С пустотой. С памятью. С именем, которое исчезало. Он смотрел на восток, туда, где за горами, за лесами, за перевалами, ждал Чёрный Пик. Ждал Корвус. Ждал ответ. Ждал конец. Или начало. Или то и другое вместе.

Пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль пела о том, кто пережил ночь. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 1

ГЛАВА 2. КЛИНОК ПРОТИВ ОТРАЖЕНИЯ

Часть первая. Оружие из обсидиана

I

Эйнар проснулся не от крика — от тишины.

Не той, звенящей, что предшествует битве, когда воздух дрожит от напряжения и кажется, что ещё мгновение — и мир лопнет, как перетянутая струна. Не той, давящей, что спускается на лагерь перед атакой, когда даже костры горят тише, а люди переговариваются

шёпотом, боясь спугнуть смерть, которая уже выбрала своих жертв. Тишина была чистой, как лезвие, которое только что вынули из ножен, — острой, прозрачной, почти музыкальной.

Он открыл глаза и сразу понял: тело слушается.

Плечи не ноют, грудь не сдавливает, в висках не пульсирует знакомая тяжесть, которая последние месяцы стала такой же привычной, как дыхание. Голова ясная, мышцы напряжены ровно настолько, чтобы чувствовать свою силу, но не дрожать от переутомления. Он лежал на спине, глядя в серое, предрассветное небо, и впервые за долгое время не считал удары своего сердца, проверяя, не пропустило ли оно очередной такт.

Он сел на лежанке — быстро, без обычной возни с опорой на локоть, без той унижительной медлительности, которая напоминала ему о цене, заплаченной Стеклу. Правая рука, человеческая, крепко сжала край одеяла. Кожа на пальцах была грубой, покрытой мозолями от посоха и меча, но живой — тёплой, настоящей, не стеклянной.

Левая рука была перевязана выше локтя.

Культи.

Он посмотрел на неё без страха и без сожаления. Старая рана, полученная ещё в Чёрном Пике, когда он заплатил последнюю плату, чтобы остановить Наблюдателя, давно зажила, оставив только гладкий розоватый рубец, стянутый в нескольких местах нитками грубых швов. Ирис сделала их наспех, в темноте, под вой ветра и треск разбивающихся зеркал. Но швы держались. Рана не гноилась. Тело приняло потерю.

Никакой стеклянной плоти. Никакого пульсирующего голубоватого света. Никаких чёрных трещин, ползущих от культи к плечу, от плеча к сердцу. Просто шрам, как у любого воина, который слишком близко подошёл к смерти и успел отшатнуться. Или не успел — но выжил. Какая разница?

Эйнар пошевелил пальцами правой руки. Они слушались. Сжал их в кулак — костяшки побелели, потом снова порозовели. Разжал. Кровь бежала по сосудам быстро, ровно, без тех пугающих пауз, которые раньше заставляли Ирис просыпаться по ночам и прижиматься ухом к его груди, проверяя, бьётся ли ещё сердце.

Бьётся. И будет биться.

Ирис спала рядом, свернувшись калачиком, поджав колени к животу, как делала всегда, когда холод пробирался под одеяло. Её лицо в сером предрассветном свете было бледным, но без тех глубоких теней, что залегали под глазами ещё неделю назад — чёрных, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота, как память о тех, кого не вернуть.

Она дышала ровно, спокойно, почти механически — сном без сновидений, глубоким, каким спят люди, когда угроза отступила, но привычка быть настороже ещё не умерла. Её руки, тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже от высушенных трав и мазей, лежали поверх одеяла, и Эйнар смотрел на них, вспоминая, сколько раз эти руки держали его над пропастью, останавливали кровь, возвращали к жизни.

Он не стал её будить.

Осторожно, стараясь не скрипеть ветками, которые служили каркасом лежанки, он выбрался из-под одеяла и встал на ноги. Колени не дрожали. Пальцы ног, босые, коснулись холодной, влажной от росы земли, и он не отдёргнул их — принял холод как данность, как напоминание о том, что он жив, а живое чувствует.

Он потянулся к посоху, прислонённому к камню у изголовья. Старый, потрескавшийся, обмотанный кожей там, где ладонь натирала мозоли. Дерево было тёплым от ночного воздуха или от его собственного тепла — он не знал. Он взял посох, проверяя вес, знакомый до боли в запястье. Лёгкий. Послушный. Но сегодня он не хотел на него опираться.

Он отставил посох в сторону.

II

Лагерь просыпался медленно, тяжело, как просыпается старый, больной зверь, который знает, что сегодня ему, возможно, предстоит сражаться, но не хочет вставать с лежбища. Где-то внизу, у потухших костров, уже возились дневальные — их голоса были приглушёнными, почти шёпотом, как будто они боялись разбудить не спящих, а самую тишину.

Звякнуло железо — кто-то точил меч о камень. Монотонный, скрежещущий звук, который въедался в сознание, как червь въедается в яблоко, делая его пустым, трухлявым, бесполезным. Запах каши с дымком потянул от кухонной повозки — овсянка с салом, привычная, почти надоевшая, но горячая, а горячая еда в горах была роскошью, которую не могли себе позволить даже маршалы.

Обычное утро. Почти мирное.

Если бы не вчерашняя ночь.

Два трупа. Два разведчика, которых нашли у восточного поста, там, где дорога уходила в лес и терялась среди старых, замшелых сосен. Харальд — молодой парень с рыжими волосами и веснушками на щеках, — с перерезанным горлом и пустыми глазами. Второй — тот, чьё имя Эйнар ещё не успел запомнить, тот, кто прибил к отряду в Тракте и прослужил всего три дня, — исчез, оставив только оружие и тень на земле, которая не принадлежала ему.

Двойники. Отражения, которые вышли из зеркал и стали плотью. Не людьми — подобиями. Пустыми оболочками, которые хотели занять место живых. Скопировать лица. Скопировать имена. Скопировать память. А потом — стереть оригинал и зажить своей, чужой, украденной жизнью.

Вчера Эйнар остановил их без Стекла. Без дара. Просто напомнив Харальду, кто он. Сказав ему: «Ты помнишь отца? Ты помнишь, как он умирал? Ты помнишь, как клялся отомстить? Ты — Харальд. Сын Рагнара. Ты — человек».

Это убило двойника. Харальд увидел себя в напоминании — настоящего, живого, помнящего — и двойник рассыпался в пыль.

Но это не спасло самого Харальда.

Напоминание оказалось для него слишком тяжёлым. Он увидел себя — не в зеркале, не в отражении, а в словах, в памяти, в правде — и не выдержал. Его лицо рассыпалось, как у двойника. Только не в пыль — в крик. Крик, который застрял в горле и не вырвался наружу, потому что нечем было кричать. Горло было перерезано. Пустота забрала его раньше, чем он успел понять, что умирает.

Эйнар стоял над его телом, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Была ярость. Холодная, тяжёлая, почти невыносимая ярость человека, который устал смотреть, как умирают те, кого он не успел спасти.

— Сегодня будет иначе, — сказал он тогда тихо, в пустоту.

Ветер донёс запах обсидиана — острая, металлическая нота, смешанная с серой, с пеплом, с чем-то древним, что спало в недрах гор миллионы лет и только сейчас, по воле случая или судьбы, вышло на свет. Эйнар знал этот запах. Он нюхал его в Чёрном Пике, когда шёл по коридорам, выложенным чёрным базальтом, когда разбивал зеркала, из которых выходили тени, когда смотрел в глаза Наблюдателя и не отводил взгляда.

Альрик встал раньше него. Уже возился у костра, где лежали заготовки для нового оружия.

III

Альрик сидел на корточках у небольшого горна — переносного, сложенного из камней вчера вечером, когда лагерь только разбили, а солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона, похожие на старую, запёкшуюся кровь. Внутри горна тлели угли, разожжённые ещё затемно, и на них, в специальной глиняной форме, лежал длинный узкий кусок обсидиана.

Чёрный, маслянистый, почти не отражающий свет. Вулканическое стекло, которое Эйнар приказал собрать ещё в горах, когда они проходили мимо старого кратера, давно потухшего, заросшего мхом и низким, колючим кустарником. Тогда он не знал, зачем ему этот чёрный, холодный камень. Просто почувствовал — понадобится. Как чувствовал смерти. Как чувствовал пустоту. Как чувствовал правду.

Альрик поднял голову, когда Эйнар подошёл. Его лицо — старое, морщинистое, с глубокими тенями под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут, — было серьёзным, почти печальным. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Был вопрос.

— Ты уверен, что это сработает? — спросил он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья.

— Уверен, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была уверенность — не та, наивная, которая не знает сомнений, а та, выстраданная, которая прошла через огонь и воду и вышла с другой стороны целой.

— Обсидиан не держит заточку, — сказал Альрик, возвращаясь к горну. — Он хрупкий. От сильного удара может раскрошиться. Ты это знаешь.

— Знаю, — кивнул Эйнар. — Но он не отражает. Совсем. Я проверил. Поднёс к зеркалу — в нём ничего не видно. Ни лица, ни тени, ни света. Пустота. Абсолютная. Как в Стекле, только без трещин.

— Двойники не увидят себя в этом клинке, — понял Альрик. — Они не смогут скопировать удар, который не видят. Они будут слепы.

— Слепы и глупы, — добавил Эйнар. — Они умеют только копировать. Без образца они — глина. Без формы — прах. Мы дадим им форму — своим мечом. А они превратятся в прах. Как вчера. Как всегда.

Он подошёл к горну, взял щипцы, которые лежали на камне рядом, и вытащил форму. Обсидиан был горячим, но не раскалённым — Альрик умел держать нужную температуру, ту самую, при которой вулканическое стекло становилось пластичным, но не плавилось, сохраняя свою чёрную, маслянистую суть.

Эйнар положил заготовку на плоский камень, который служил наковальней. Начал обстучивать края специальным молотком — коротким, с плоским бойком, обмотанным кожей, чтобы не оставлять царапин. Удары были точными, выверенными, экономными. Он не торопился. Не переусердствовал. Работа заняла около часа.

За это время лагерь окончательно проснулся.

Люди завтракали — кто у общих костров, кто в своих палатках, кто прямо на ходу, жуя чёрствые сухари и запивая их тёплой водой из фляг. Чистили оружие — мечи, копья, арбалеты, проверяли тетивы, смазывали замки. Перебрасывались короткими фразами, которые не значили ничего, но создавали иллюзию нормальной жизни, мира, в котором нет двойников, пустоты и вчерашних трупов.

Кто-то смеялся — нервно, отрывисто, потому что вчерашняя ночь ещё сидела в затылке холодной иглой, и смех был единственным способом вытолкнуть её наружу, сделать менее острой. Кто-то молчал, глядя на восток, откуда могли прийти новые тени, и его глаза были пустыми, как зеркала, в которых никто никогда не отражался.

Ирис принесла Эйнару кружку горячего отвара — горького, пахнущего мятой и сушёной корой, с добавлением корня солодки для сладости. Она поставила кружку на камень рядом с ним и села на корточки, наблюдая за его работой.

— Ты не спал? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Спал, — ответил он, не отрывая глаз от обсидиана. — Хорошо. Впервые за много дней.

— Ты сегодня другой, — сказала она осторожно, как будто боялась спугнуть это состояние, это редкое, почти забытое чувство — быть здоровым, быть сильным, быть готовым.

Она посмотрела на его руки. На левую культю, перевязанную чистой тряпицей — белой, почти ослепительно белой на фоне серого утра. На правую — здоровую, сильную, с длинными пальцами, которые уверенно держали молоток, и сбитыми костяшками, которые помнили не один бой.

— Я сегодня не боюсь, — ответил он просто. — Не потому, что стал смелее. Потому, что понял: бояться — это тратить время. А у нас его в обрез.

Она не ответила. Только сжала его плечо — левое, выше культи, там, где мышцы ещё помнили, как держать щит, — и улыбнулась. Грустно, почти прощально, почти невидимо. Но улыбнулась.

IV

Клинок получился ровным, без сколов, с узким долом посередине для лёгкости и с рукоятью, которую Эйнар выточил из куска старой, закалённой в огне берёзы. Дерево было твёрдым, как кость, и тёплым, как живое. Он обмотал рукоять полоской сыромятной кожи, чтобы ладонь не скользила, и примерил клинок к протезу.

Протез был старым, сделанным ещё в Тракте, когда они только вошли в город и Эйнар впервые понял, что левая рука не вернётся. Кожаный раструб с металлическими кольцами внутри, которые держали форму, и ремнями, которые крепились к плечу. Громоздкий, неудобный, но после сотен тренировок он стал почти родным.

Эйнар вставил рукоять в специальное гнездо, затянул ремни, проверил хват. Протез держал клинок ровно, без люфта. Он поднял руку — медленно, потом быстрее. Отвёл в сторону. Сделал рубящее движение сверху вниз, снизу вверх, по диагонали. Не так быстро, как настоящей, но достаточно, чтобы убить.

Лис наблюдала за ним со скалы, где сидела в дозоре. Её единственный глаз, живой, острый, почти хищный, следил за каждым движением, каждым поворотом плеча, каждым напряжением мышц. Когда Эйнар закончил, она спустилась вниз — бесшумно, как тень, как призрак, как память, — и остановилась в трёх шагах.

— Острый? — спросила она, кивнув на клинок.

— Проверим, — ответил он.

Они вышли на край лагеря, туда, где росла старая, искривлённая сосна, которую ветер скрутил в детстве и оставил расти кривой, уродливой, но живучей. Ствол был толщиной в руку, покрытый глубокими трещинами, из которых сочилась смола — густая, янтарная, пахнущая лесом и временем.

Эйнар размахнулся и рубанул по стволу.

Обсидиан вошёл в дерево как в масло — без треска, без вибрации, без того противного скрежета, который бывает, когда сталь встречается с древесиной. Просто тихое, почти музыкальное «вжж-х», и клинок оказался по ту сторону. Срез остался чёрным, маслянистым, и из

него не выступил сок. Дерево просто умерло в том месте, где коснулся клинок. Как будто его никогда и не было.

— Хорошо, — сказала Лис без эмоций. — А по человеку?

— Найдём человека, — ответил Эйнар, вынимая клинок из ствола. — Или то, что при-
творяется человеком.

Он закрепил обсидиан на поясе — не в ножнах, потому что ножен для такой формы не было, а просто засунув за ремень, лезвием наружу, так, чтобы можно было выхватить за долю секунды. Клинок чёрным языком высунулся из-за пояса, блеснул в свете утреннего солнца — тусклого, серого, почти мёртвого, — и замер в ожидании.

Часть вторая. Первая кровь

V

Отряд выступил через час.

Двинулись на восток, туда, где вчера пропали дозорные, где зеркала в лесу ещё могли хранить отражения мёртвых, где земля была покрыта серой, маслянистой пылью, которая не смывалась и не сдувалась — только впитывалась в кожу, в одежду, в память.

Эйнар шёл первым.

Без посоха. Без щита. Только обсидиановый клинок на поясе и нож в сапоге — короткий, широкий, с чёрной рукоятью, который он носил ещё с Серых Холмов. Его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Он не опирался ни на кого, не хромал, не задыхался после первых же сотен метров. Воздух входил в лёгкие полной грудью, без хрипов, без кашля, без той липкой, чёрной мокроты, которая раньше оставляла на губах вкус пустоты.

За ним шла Ирис — с сумкой бинтов и мазей через плечо, с ножом на поясе, с тревогой в глазах, которую она прятала за маской спокойствия. Её лицо было бледным, но не болезненно-бледным, а той особенной, военной бледностью, когда человек давно не спал, но держится на одной воле, на одной надежде, на одном имени.

Слева — Лис, её единственный глаз сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Правая рука лежала на рукояти ножа, готовая выхватить его в любой момент. Она не смотрела под ноги — она смотрела вперёд, в глубину леса, где тени сгущались и обретали форму.

Справа — Рагнар, капитан «Серых Волков», его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щеку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он нёс длинный, двуручный меч, который помнил кровь не одного врага, и его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимали рукоять с такой силой, что костяшки побелели.

«Серые Волки» растянулись цепью, прочёсывая лес. Чёрные, потёртые доспехи, волчьи головы на нашивках, мечи и копья наготове. Они не разговаривали. Не перешёптывались. Не

кашляли. Только шаги. Только дыхание. Только тишина, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

VI

Лес был старым, замшелым, с низкими, стелющимися ветвями, за которые цеплялись плащи, и корнями, которые вылезали из земли, как кости великанов, которые умерли давно, но не упали. Деревья росли так близко друг к другу, что местами приходилось пробираться боком, и их кроны смыкались над головой, превращая небо в узкую, дрожащую щель, похожую на трещину в старом, зажившем стекле.

Пахло прелыми листьями, грибами и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом, который Эйнар знал слишком хорошо. Он нюхал его в Чёрном Пике, когда вёл Корвуса в цепях по коридорам, стены которых помнили слишком много смертей. Запахом пустоты. Запахом скверны. Запахом того, что умирало слишком долго и никак не могло умереть окончательно.

— Здесь, — сказала Лис, поднимая руку. — В овраге.

Овраг был неглубоким, с пологими склонами, поросшими папоротником, мхом и низким, колючим кустарником, который цеплялся за одежду, царапал кожу, напоминал о том, что этот лес не любит живых. На дне стоял туман — серый, тяжёлый, почти осязаемый. Он не рассеивался под лучами утреннего солнца, не уходил в землю, не таял, как обычный туман. Он держался, как живой, как упрямый, как голодный.

Внутри тумана, не двигаясь, стояли фигуры.

Четыре. Пять. Десять. Эйнар не стал считать. Он знал, что их будет столько, сколько нужно, чтобы убить, и ни одной лишней. Пустота не терпит излишеств. Она экономична. Она точна. Она убивает ровно столько, сколько нужно, чтобы заполнить себя.

— Двойники, — сказал Рагнар тихо, как будто они могли услышать. — Те же, что вчера.

— Нет, — ответила Лис, прищурившись. — Другие. Посмотри на лица.

Эйнар присмотрелся. Вгляделся в туман, в серую, пульсирующую мглу, в лица, которые проступали из неё, как отражения из мутной воды.

У одной фигуры было лицо женщины — той самой, что пекла хлеб в Тракте и чьих детей Корвус угнал в рабство. Её глаза были пустыми, светлыми, с точечными зрачками, и в них не было ни боли, ни страха, ни надежды. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, как в том зеркале, которое он разбил утром.

У другой — лицо старого кузнеца, который ковал мечи для восстания тридцать лет назад, который помнил времена до Корвуса, который видел свободу своими глазами. Теперь его глаза смотрели из пустоты, и в них не было узнавания. Только форма. Только подобие. Только ложь.

Третья была без лица вообще — только гладкий овал, как у куклы, которую не успели раскрасить. Она ещё не выбрала, кем стать. Ещё не скопировала. Ещё не стала. Просто ждала.

Ждала, когда кто-нибудь подойдёт достаточно близко, чтобы украсть его лицо, его имя, его память.

— Они копируют не только живых, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но и тех, кого запомнили. Мёртвых. Забытых. Тех, чьи имена стёрты временем, но не памятью камня.

— Как их убить? — спросил Рагнар, вынимая меч.

— Мечом, — ответил Эйнар и шагнул в овраг.

VII

Первая фигура — женщина с пустыми глазами, лицом, которое когда-то принадлежало матери, жену, кому-то, кого любили и потеряли, — шагнула навстречу. В её руке был нож — кухонный, с потрескавшейся деревянной рукоятью, с лезвием, которое помнило не бой, а разделку мяса, чистку рыбы, нарезку хлеба. Обычный нож. Не боевой. Не страшный. Но в руках пустоты любое оружие становится смертельным.

Она занесла нож для удара — медленно, почти грациозно, как танцовщица, которая повторяет движение, выученное много лет назад. Эйнар не замедлился. Не попытался заговорить. Не вспомнил её имени. Потому что это имя больше ничего не значило. Оно умерло вместе с той, кому принадлежало. Осталась только форма. Только подобие. Только ложь.

Он выхватил обсидиан.

Клинок чёрной молнией вылетел из-за пояса, описал дугу и встретил вытянутую руку женщины. Удар был коротким, резким, экономным — без замаха, без лишних движений, без той театральности, которая красива в учебных боях, но смертельна в настоящих.

Клинок прошёл сквозь плоть. Но не рассек её, как рассекают живую ткань — с хрустом, с кровью, с криком. Плоть двойника была другой: плотной, как глина, но хрупкой, как старая штукатурка, как высохшая земля, которая рассыпается в пальцах, когда её сжимают слишком сильно.

Она треснула по краям.

Из трещин посыпалась пыль — серая, маслянистая, мёртвая. Не та, которая поёт, когда её тревожат, а та, которая молчит, потому что ей нечего сказать. Нет памяти. Нет имени. Нет голоса.

Женщина замерла.

Её лицо — то, что осталось от лица, — исказилось. Не боль. Удивление. Холодное, почти спокойное удивление существа, которое не знало, что может чувствовать, и вдруг почувствовало. Она посмотрела на свою исчезающую руку, потом на Эйнара. В её глазах — пустых, светлых, с точечными зрачками — мелькнуло что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость.

Вопрос.

«Почему?»

Он не ответил. Не успел. Женщина рассыпалась.

Пыль упала на землю, смешалась с листьями, с мхом, с землёй. Не запела. Не застонала. Просто исчезла, как исчезает утренний туман, когда солнце поднимается выше. Только серая, маслянистая лужица на том месте, где она стояла, напоминала о том, что здесь кто-то был. Или не был. Или был, но перестал.

— Работает, — сказала Лис, появляясь за его спиной. Её нож блестел в свете, и на лезвии не было пыли.

— Не отвлекайся, — ответил Эйнар, поворачиваясь ко второй фигуре.

VIII

Кузнец был тяжелее.

Он стоял в трёх шагах от Эйнара, его широкие плечи нависали над ним, как скалы, как стены, как судьба. Его лицо — то, которое помнило огонь горна, жар расплавленного металла, звон молота по наковальне — было пустым, как и у всех остальных, но в нём чувствовалась сила. Не физическая — сущностная. Сила человека, который тридцать лет назад ковал мечи для свободы и умер, так и не дождавшись её.

Он нёс молот.

Не боевой, кузнечный, с плоским бойком и длинной рукоятью, обмотанной старой, потрескавшейся кожей. Молот был тяжёлым — Эйнар видел это по тому, как двойник держал его, не напрягаясь, но и не расслабляясь. Просто нёс, как будто молот был частью его, как будто он родился с ним в руках, как будто без него он был бы неполным.

Кузнец сделал шаг вперёд.

Молот взметнулся вверх — медленно, тяжело, неотвратно, как поднимается волна перед тем, как обрушиться на берег. Эйнар успел уйти в сторону. Удар пришёлся в камень рядом с его головой. Камень треснул — не от силы удара, от прикосновения. Чёрная, маслянистая трещина поползла по его поверхности, как корень, как вена, как трещина на Стекле. Камень не раскололся — он умер. Стал серым, трухлявым, рассыпался в пыль.

Второй удар. Эйнар пропустил его — молот просвистел в дюйме от его плеча, воздух взвизгнул от напряжения, и волосы на затылке встали дыбом от близости смерти. Он ушёл в низкую стойку, перекатился через плечо, оказался сбоку от кузнеца.

Третий удар. Кузнец развернулся быстрее, чем Эйнар ожидал. Молот описал дугу снизу вверх, целя в челюсть. Эйнар не успел уклониться — только подставить левую руку, ту самую, с протезом и обсидиановым клинком.

Удар пришёлся в клинок.

Металл встретился с камнем — или с тем, что притворялось камнем. Звук был странным, неправильным: не звон, не скрежет, а какой-то глухой, вязкий, почти живой. Как будто молот ударил не по металлу, а по воде. Или по пустоте.

Обсидиан выдержал.

Кузнец замер.

Его молот — тяжёлый, древний, помнящий не один десяток лет работы — начал трескаться. Трещины пошли от бойка к рукояти, от рукояти к рукам, от рук к плечам. Кузнец выпустил молот, и тот упал на землю с глухим стуком, рассыпался в пыль ещё до касания.

Эйнар не ждал. Он рубанул снизу вверх, целя в живот.

Клинок вошёл по самую рукоять.

Кузнец замер. Его тело — плотное, глиняное, почти монолитное — начало трескаться по всей поверхности, как старая, пересохшая земля, которую полил дождь. Трещины шли от живота к груди, от груди к лицу, от лица к ногам. Он рассыпался не сразу — кусками, которые падали на землю и превращались в пыль ещё до касания. Сначала отвалилась рука. Потом — голова. Потом — всё остальное.

Пыль была густой, тяжёлой, почти живой. Она оседала на лице, на одежде, на обсидиане, и Эйнар сдул её с клинка коротким, резким выдохом.

— Семь, — сказал Рагнар, отрубая голову третьему двойнику. — Шесть, если не считать того, которого ты уже сделал.

— Считай дальше, — бросил Эйнар, бросаясь к четвёртому.

IX

Бой занял меньше десяти минут.

Двойники не умели защищаться — только наступать. Они не уклонялись, не блокировали, не прятались. Шли прямо на клинок, как заговорённые, как проклятые, как те, кому нечего терять, потому что у них никогда ничего не было.

Эйнар убил четырёх.

Первого — женщину с пустыми глазами. Второго — кузнеца с молотом. Третьего — безликого, который пытался копировать его движения, но не успевал, потому что Эйнар рубил быстрее, чем пустота могла обработать новую информацию. Четвёртого — молодого парня с лицом, которое он узнал. Тот самый разведчик, который пропал вчера вместе с Харальдом. Его звали... Эйнар не мог вспомнить имя. Пустота забрала его раньше, чем он успел запомнить. Или он сам забыл, потому что имя было неважным. Важным был клинок.

Рагнар убил трёх.

Лис — двух.

Остальные «Волки» добили тех, кто попытался обойти их с флангов. Восемь двойников, десять, двенадцать — Эйнар сбился со счёта после пятого удара. Важны были не цифры. Важна была скорость. Каждый убитый двойник — это секунда, выигранная у пустоты. Минута. Час. День. Всё, что нужно, чтобы дойти до Чёрного Пика.

Когда последний двойник превратился в пыль, Эйнар опустил клинок и огляделся.

Ни крови. Ни трупов. Только серая, маслянистая пыль, покрывающая дно оврага, как первый снег. Она лежала на листьях, на мхе, на корнях, на его сапогах, и в ней, в этой глубине, в этом ожидании, не было ничего. Только пустота.

— Легко, — сказал Рагнар, вытирая меч о плащ. Клинок был чистым — пыль не прилипла к стали, как будто боялась.

— Это были слабые, — ответил Эйнар. — Разведчики. Настоящие придут позже.

Он поднял с земли кусок пыли, растёр между пальцами. Она была холодной, почти ледяной, и таяла на коже, не оставляя следа. Впитывалась в поры, в память, в пустоту. Он стряхнул её, не глядя.

— Они не живут долго, — сказал Альрик, спускаясь в овраг. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. — У них нет души. Нет памяти. Нет имени. Они могут существовать только пока их кто-то помнит. Когда память умирает — они рассыпаются.

— Значит, мы должны перестать их помнить, — сказала Ирис. Её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Мы должны их убивать, — поправил Эйнар. — Быстро. Без жалости. Без сомнений. Без памяти. Память — для живых. Для мёртвых — только клинок.

Он взвесил обсидиан в руке. Клинок был чистым — пыль не прилипла к нему, кровь не окрашивала. Он оставался чёрным, маслянистым, пустым. Как зеркало, в котором никто никогда не отражался.

— Хорошее оружие, — сказал Альрик.

— Против пустоты — только пустота, — ответил Эйнар. — Или память. Или сталь. Сегодня — сталь.

Он спрятал клинок за пояс и двинулся дальше, на восток, где сквозь деревья уже проступали первые лучи настоящего, живого солнца.

Часть третья. По ту сторону зеркала

Х

Они нашли зеркало на поляне, в том месте, куда не доходил свет.

Оно стояло на каменном постаменте, как алтарь, как надгробие, как дверь. Старое, бронзовое, с потускневшей поверхностью, в которой ничего не отражалось. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. Рядом с ним, в радиусе десяти шагов, не росла трава. Земля была чёрной, маслянистой, мёртвой. Как будто само место отказалось от жизни.

— Разбить? — спросил Рагнар, поднимая меч.

— Подожди, — сказал Эйнар. Он подошёл к зеркалу, остановился в шаге. Коснулся поверхности правой рукой. Металл был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота.

В отражении — того, что должно было быть отражением, — он увидел не себя.

Молодого, целого, с двумя руками и живыми глазами. С каштановыми волосами, в которых не было седины. С лицом, которое не помнило страха. Увидел тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

Наблюдатель.

— Он здесь, — сказал Альрик, подходя ближе. — Но он не один. Смотри.

Из глубины зеркала, из чёрной, маслянистой пустоты, начало проступать лицо. Не Наблюдателя — другое. Человеческое. Бледное, с глубокими морщинами, прорезавшими кожу, как трещины прорезают старый, высохший лёд. С глазами — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

Корвус. Бывший Лорд Чёрного Пика. Тень, которая сожрала свой свет.

— Он жив? — спросил Рагнар, и голос его дрогнул — впервые за много дней, впервые с тех пор, как они вышли из Чёрного Пика.

— Он мёртв, — ответил Альрик, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Но его отражение осталось. И оно учит пустоту копировать. Копировать лица. Копировать имена. Копировать память.

Эйнар смотрел в лицо Корвуса, не отводя взгляда. Оно было спокойным — не безмятежным, а спокойным той особенной, военной тишиной, когда человек принял свою судьбу и не собирается её менять. Губы шевелились, произнося одно слово. Одно имя. Одно напоминание.

«Помни».

Эйнар выхватил обсидиан и рубанул по зеркалу.

XI

Клинок вошёл в бронзу, как в масло.

Металл треснул, и из трещины хлынула не пыль — тьма. Чёрная, маслянистая, пульсирующая. Она вырвалась наружу, обвила руку Эйнара, поползла к плечу, к шее, к лицу. Она была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как лёд, как смерть, как пустота. Она хотела войти в него. Заполнить его. Стать им.

Он не отступил.

Рванул клинок вверх, и зеркало разлетелось на две неровные половины. Осколки брызнули в разные стороны, звеня, как капли дождя, как капли крови, как капли времени. Они падали на чёрную, мёртвую землю, вонзались в неё, как ножи, как колья, как память.

Из осколков, из их глубины, начали выходить фигуры.

Не одна — десятки. Сотни. Двойники. Те, кого Корвус запомнил. Те, кого пустота скопировала. Те, кто ждал своего часа в глубине зеркал, в темноте, в пустоте.

Они были разными: мужчины, женщины, старики, дети. У некоторых были лица, которые Эйнар узнавал — Харальд, Торкель, даже Лис. У других — гладкие овалы, ещё не сформировавшиеся, ещё не выбравшие, кем стать.

— Рубите! — крикнул Эйнар, и он бросился вперёд.

XII

Он не использовал дар.

Не смотрел в их глаза. Не вспоминал их имена. Не пытался напомнить им, кто они. Потому что они не были никем. Никогда не были. Пустые оболочки. Глиняные куклы. Отражения, которые забыли, что они — только отражения.

Он рубил.

Левой рукой, на которой крепко сидел протез с обсидиановым клинком. Удары были короткими, резкими, без замаха — экономные движения, которые он отработал на утренней тренировке, когда рубил старую, искривлённую сосну, и дерево умирало под его клинком, как умирали сейчас эти тени.

Раз — двойник теряет голову.

Два — двойник теряет руку.

Три — двойник рассыпается ещё до того, как его ноги касаются земли.

Двойники падали, рассыпались, превращались в пыль. Но на их месте появлялись новые. Из зеркала, из земли, из воздуха. Пустота не знала усталости. Пустота не знала страха. Пустота не знала сомнений. Она просто копировала. Копировала лица тех, кто стоял перед ней. Копировала движения тех, кто пытался её убить. Копировала память тех, кто когда-то смотрел в неё и не отвёл взгляд.

— Их слишком много! — крикнул Рагнар, отступая к деревьям. Его меч блестел в свете, но на лезвии уже была пыль — серая, маслянистая, мёртвая. Он сбивал её ударом о ствол сосны, но она возвращалась, прилипала к рукам, к лицу, к глазам.

— Тогда работайте быстрее! — ответил Эйнар, не оборачиваясь.

Он врубился в самую гущу.

Лезвие мелькало перед его глазами, как чёрная молния. Рубка справа — двойник теряет ногу. Рубка слева — двойник теряет туловище. Удар снизу — двойник рассыпается ещё до того, как понял, что его ударили.

Пыль летела в лицо, забивалась в рот, в глаза, в уши. Она была везде. Она была в воздухе, в земле, в нём самом. Эйнар не останавливался. Не вытирал лицо. Не моргал. Только рубил. Только убивал. Только помнил, зачем он здесь.

В какой-то момент он перестал считать. Перестал думать. Перестал чувствовать. Остался только клинок. Только рука. Только цель.

ХІІІ

Бой длился полчаса.

Может быть, час. Эйнар потерял счёт времени. В какой-то момент двойники перестали появляться — зеркало было разбито окончательно, осколки лежали на земле, чёрные, мёртвые, пустые. Поляна была покрыта слоем серой пыли, в которой утопали сапоги по щиколотку.

Эйнар стоял в центре, тяжело дыша, но не сгибаясь.

Его обсидиановый клинок был чистым, как и в начале боя. На протезе не было ни царапины. Только пыль на одежде и усталость в мышцах — та хорошая, здоровая усталость, которая приходит после долгой работы, а не после платы, не после дара, не после пустоты.

— Жив? — спросил Рагнар, подходя к нему. Его голос был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным.

— Жив, — ответил Эйнар.

— Ранен?

— Нет.

Он опустил клинок, посмотрел на свои руки. Правая — целая, сильная, сбита в костяшках. Левая — культя, защищённая кожей протеза. Никаких трещин. Никакого стекла. Никакой платы.

Ирис подошла, провела пальцами по его лицу, стирая пыль со щёк. Её пальцы дрожали — не от страха, от облегчения. Такое огромное, такое полное, такое абсолютное, что оно не помещалось в слова. Оно было видно в каждой морщинке, в каждом дрожащем пальце, в каждом прерывистом вздохе.

— Ты не использовал дар, — сказала она.

— Не понадобился, — ответил он.

— Ты не платил.

— Нечем было платить.

Он посмотрел на обсидиан. Чёрный, маслянистый, пустой. Он не отражал свет, не отражал лица, не отражал пустоту. Он просто был. Оружие. Инструмент. Память.

— Сегодня я просто рубил, — сказал он. — И этого хватило.

Часть четвёртая. Пыль и тишина

XIV

Лагерь разбили у ручья, в полумиле от поляны. Место было открытым, продуваемым всеми ветрами, но вода была чистой, а берег — ровным, без камней и корней. Эйнар приказал выставить двойные дозоры — не столько против двойников, сколько против страха, который мог вернуться в лагерь вместе с темнотой.

Страх был худшим врагом. Он не имел формы, не имел лица, не имел клинка, но убивал вернее любого оружия. Он заставлял людей слышать шаги там, где их не было, видеть тени там, где падал только свет, вспоминать имена тех, кого лучше было забыть.

Эйнар сел у костра — большого, жаркого, сложенного из сухих сосновых веток, которые трещали и стреляли искрами. Положил обсидиан на колени и принялся его чистить, хотя клинок был чистым. Просто нужно было делать что-то руками. Просто нужно было занять мысли. Просто нужно было не смотреть на восток, где уже сгущались сумерки.

Лис принесла ведро воды, плеснула себе на лицо, отмывая пыль. Её единственный глаз блестел в свете углей — живой, острый, почти хищный. Она смотрела на Эйнара, и в её взгляде было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

— Ты был прав насчёт оружия, — сказала она. — Оно работает.

— Потому что оно не отражает, — ответил Эйнар. — Двойники не видят себя в нём. Они не могут скопировать удар, который не видят.

— А если они научатся?

— Тогда мы придумаем что-нибудь другое.

Он закрепил клинок на поясе, поднялся. Ноги не дрожали. Спина не болела. Он чувствовал себя так, как не чувствовал себя много месяцев — с тех пор, как впервые коснулся Стекла и начал платить. Сегодня он не заплатил ничего. И это было главным.

XV

Ирис ждала его у шатра.

Она развела небольшой костёр — аккуратный, сложенный из мелких веток и сухой травы, чтобы давал больше тепла и меньше дыма. Вскипятила воду в старом, почерневшем от копоти котелке, заварила травы. Протянула кружку — горячую, пахнущую мятой и чабрецом, с добавлением коры ивы от лихорадки и корня солодки для вкуса.

— Ты сегодня другой, — сказала она, когда он сел рядом.

— Я сегодня не боялся, — повторил он.

— Ты не боялся и раньше. Но раньше ты выглядел так, будто несёшь на себе весь мир. А сегодня... ты двигался легко. Как раненый зверь, который наконец зализал раны и снова может бежать.

Он отпил отвар, помолчал. Горячая жидкость обожгла горло, разлилась теплом по груди, по животу, по ногам. Хорошо. Живо. Настояще.

Потом посмотрел на свою правую руку — здоровую, целую, с длинными пальцами, которые умели держать не только посох, но и меч. Кожа на ладони была грубой, покрытой мозолями, но живой. Тёплой. Настоящей.

— Я думал, что без дара я никто, — сказал он тихо. — Что только Стекло делает меня сильным. Что только память о мёртвых даёт мне право вести живых. А сегодня я понял: я — это я. Даже без отражений. Даже без видений. Даже без платы. Я могу взять клинок и пойти вперёд. И этого достаточно.

Ирис сжала его руку — правую, живую, тёплую. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

— Этого достаточно, — сказала она.

Они сидели у костра, глядя на восток, туда, где за лесом, за горами, за перевалами ждал Чёрный Пик. Или то, что от него осталось. Ждал Корвус. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Эйнар не боялся. Он был готов.

XVI

Ночью двойники не пришли.

Тишина стояла плотная, но не враждебная — усталая, как после долгой битвы, когда обе стороны зализывают раны и пересчитывают потери. Луна скрылась за облаками, звёзды погасли — или их не было с самого начала. Только тьма. Только холод. Только ожидание.

Люди спали — кто в шатрах, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла. Кто-то похрапывал, кто-то стонал во сне, кто-то просто лежал с открытыми глазами, глядя в чёрное, звёздное небо, и ждал рассвета.

Эйнар не спал.

Сидел у затухающего костра, чистил обсидиан, проверял протез, перебирал ремни, которые могли ослабнуть после боя. Ирис дремала рядом, положив голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она спала — или притворялась, что спит.

Он смотрел на огонь, и в его голове не было видений. Не было голосов мёртвых. Не было пустоты, которая звала. Была только тишина. И уверенность, что завтра он снова возьмёт клинок и пойдёт вперёд.

Пыль не пела. И это было хорошо.

XVII

Альрик подошёл к костру, когда луна выглянула из-за облаков — бледная, холодная, почти мёртвая. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он держал в руке горсть пыли — той самой, серой, маслянистой, мёртвой, что осталась от двойников и разбитых зеркал.

— Ты знаешь, что это? — спросил он, протягивая руку.

— Пыль, — ответил Эйнар.

— Не просто пыль. Память. Осколки того, что было. Тех, кто жил. Тех, кто умер. Тех, кто забыт. Пустота не умеет творить. Она только копирует. А когда копия рассыпается — остаётся не оригинал, а то, что было между. Память. Искажённая. Пустая. Но всё же память.

Эйнар взял горсть пыли, растёр между пальцами. Она была холодной, почти ледяной, и в ней, в этой глубине, в этом ожидании, он почувствовал что-то. Не голоса. Не образы. Просто... присутствие. Тех, кто ушёл. Тех, кто не вернулся. Тех, кто ждал.

— Что с ней делать? — спросил он.

— Ничего, — ответил Альрик. — Она исчезнет сама. Когда перестанет быть нужной. Когда память умрёт окончательно. Или когда кто-то вспомнит тех, кто в ней остался. И тогда пыль запоёт. Но сегодня она молчит. И это хорошо.

Он ушёл в темноту, оставив Эйнара одного. С пылью на ладони. С пустотой внутри. С памятью, которая умирала, но не хотела исчезать.

XVIII

Эйнар сдул пыль с ладони. Она взметнулась в воздух, закружилась в свете умирающего костра, как маленький, серый смерч, и исчезла. Растворилась в темноте. Стала ничем. Как и те, кому она принадлежала.

Он посмотрел на восток.

Там, за лесом, за горами, за перевалами, ждал Чёрный Пик. Ждал Корвус. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Он не знал, что будет. Не знал, выживет ли. Не знал, увидит ли завтрашний закат. Но знал, что завтра он снова возьмёт клинок и пойдёт вперёд. Потому что если не он — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что он — Эйнар. Зеркальный Пророк. И он не сдаётся.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутая пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той тишине, которая была лучше любой песни.

Ирис пошевелилась во сне, прижалась щекой к его плечу, и он почувствовал тепло. Живое. Настоящее. Человеческое.

Он не стал её будить.

Просто сидел, смотрел на восток и ждал рассвета.

Пыль не пела. И это было хорошо.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 2

ГЛАВА 3. ТРЕВОЖНЫЙ СЛЕД

Часть первая. След на границе рассвета

I

Лагерь проснулся не от крика — от тишины. Не той, звенящей, что предшествует битве, когда воздух дрожит от напряжения и кажется, что ещё мгновение — и мир лопнет, как перетянутая струна. Не той, давящей, что спускается на лагерь перед атакой, когда даже костры горят тише, а люди переговариваются шёпотом, боясь спугнуть смерть, которая уже выбрала своих жертв. Тишина была усталой, как человек, который слишком долго сражался и наконец позволил себе закрыть глаза. Но она была обманчивой.

Эйнар стоял на восточном краю лагеря, опираясь на посох — не потому, что нуждался в опоре, а потому, что привык. День обещал быть ясным, насколько это вообще возможно в этих краях. Небо над горами начало светлеть — не рассветом, той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а тяжесть осталась. Ветер дул с севера, холодный, колючий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй, но в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось спокойно. Не потому, что он был готов к бою, — потому, что он больше не боялся.

Лис сидела на плоском камне в двадцати шагах от него, её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в сером предрассветном свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Она не спала. Никогда не спала в дозоре. Спать в дозоре — значит умереть. Её учили этому в первый же день, когда она взяла в руки нож. Старый разведчик с лицом, изрезанным шрамами, сказал тогда: «Лис, ты не человек. Ты — глаз. Глаз не спит. Глаз смотрит. Глаз помнит. А если глаз закрывается — его владелец слепнет. А слепых убивают первыми».

Она помнила эти слова. Помнила каждый день. Каждую ночь. Каждый раз, когда тьма сгущалась, и из неё начинали рождаться звуки, которых не должно было быть. Но сегодня ночь была спокойной. Подозрительно спокойной. После вчерашнего боя, после двойников, которые вышли из зеркала десятками, после того, как Эйнар разбил проклятое стекло своим обсидиановым клинком, она ожидала, что пустота ответит. Ударит снова. Пришлёт ещё тени. Но ночь прошла в тишине. Ни шагов. Ни хруста веток. Ни того сладковатого, приторного запаха скверны, который преследовал их от самого Чёрного Пика.

Лис не верила в удачу. Она верила в то, что видела своими глазами. А видела она, как пустота учится. Как она адаптируется. Как она становится умнее, хитрее, терпеливее. Вчерашние двойники были слепыми, глупыми, почти механическими. Они шли прямо на клинок, не защищаясь, не уклоняясь, не прячась. Но завтра, Лис знала это, они станут другими. Быстрее. Опаснее. И тогда их обсидиановые клинки могут не спасти.

Она спустилась с камня и пошла вдоль восточного периметра, туда, где лес подступал к лагерю вплотную, а земля была влажной от ночной росы. Каждый шаг был бесшумным, каждое движение — выверенным, экономным. Она не просто шла — она сканировала. Глаз скользил по земле, по стволам деревьев, по низким, стелющимся ветвям, которые цеплялись за одежду, царапали кожу, напоминали о том, что этот лес не любит живых.

Она нашла след не сразу. Он лежал в пятидесяти шагах от шатра Эйнара, за большим, замшелым валуном, откуда открывался обзор на весь лагерь. Отпечаток сапога был чётким, почти идеальным, вдавленным во влажную землю с той уверенной силой, которая бывает у людей, привыкших много ходить. Носок смотрел в сторону лагеря. Каблук — в сторону леса. Кто-то стоял здесь. Долго. Наблюдал.

Лис опустила на корточки, не касаясь следа. Пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — зависли в дюйме над отпечатком, не разрушая его. Она изучала край, глубину, рисунок подошвы. Сапог был старым, сбитым, с характерным износом на внешней стороне каблука — так снашивается обувь у людей, которые много ходят по каменистой местности, привыкли к осыпям, к подъёмам, к опасным тропам.

— Чужак, — прошептала она, и слово это прозвучало не как вопрос — как утверждение.

След был свежим. Она определила это по тому, как земля ещё держала форму, не осыпалась, не расплылась от ночной росы. Время? Между полночью и рассветом. Три, четыре, пять часов назад. Кто-то стоял здесь и смотрел, как они спят, как дышат, как видят сны. И никто из дозорных его не заметил. Никто не услышал. Никто не почуял.

Лис поднялась, бесшумно, как тень, как призрак, как память. Её рука легла на рукоять ножа — не для защиты, для уверенности. Она огляделась. Лес молчал. Даже птицы не пели. Тишина была плотной, почти осязаемой, и в этой тишине, в этом ожидании, в этом затаившемся дыхании, было что-то, от чего даже Лис, которая не боялась никого, почувствовала холод в спине.

Она развернулась и быстрым, бесшумным шагом направилась к лагерю. К Эйнару.

II

Эйнар стоял у потухшего костра, чистил обсидиановый клинок — хотя тот был чистым, как и вчера. Просто нужно было делать что-то руками. Просто нужно было занять мысли. Просто нужно было не смотреть на восток, где уже сгущались утренние тени.

Правая рука, живая, сильная, уверенно держала ткань. Левая культя, скрытая протезом, покоилась на поясе, рядом с ножами. Протез был старым, сделанным ещё в Тракте, когда они только вошли в город и Эйнар впервые понял, что левая рука не вернётся. Кожаный рас-труб с металлическими кольцами внутри, которые держали форму, и ремнями, которые крепились к плечу. Громоздкий, неудобный, но после сотен тренировок он стал почти родным. Сегодня протез не болел. Не натирал. Не напоминал о том, что он — чужеродный кусок кожи и металла, прилепленный к телу. Он был частью Эйнара. Как память. Как имя. Как пустота, которая больше не звала.

Ирис вышла из шатра, неся кружку горячего отвара — горького, пахнущего мятой и сушёной корой, с добавлением корня солодки для сладости. Её лицо было бледным, но не болезненно-бледным, а той особенной, военной бледностью, когда человек давно не спал, но держится на одной воле, на одной надежде, на одном имени. Под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни, но они были не такими страшными, как раньше. Не такими пугающими. Просто признак усталости, а не признак скорой смерти.

— Ты не спал, — сказала она, протягивая кружку. Голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Спал, — ответил он, принимая кружку. Пальцы встретили тепло — живое, настоящее, человеческое. Он отпил глоток, поморщился от горечи, но не отставил. Горячая жидкость обожгла горло, разлилась теплом по груди, по животу, по ногам. Хорошо. Живо. Настояще.

— Ты сегодня другой, — сказала она, садясь на камень рядом. — Легче. Свободнее. Как будто сбросил груз, который нёс всю жизнь.

— Я сбросил, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихую, почти прощальную уверенность. — Я сбросил

Стекло. Не физически — сущностно. Я больше не должен ему. Не должен платить. Не должен помнить за всех. Я могу просто идти. Просто рубить. Просто жить.

Ирис смотрела на него, и в её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — было что-то, чего она не видела раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Облегчение. Такое огромное, такое полное, такое абсолютное, что оно не помещалось в слова. Оно было видно в каждой морщинке, в каждом дрожащем пальце, в каждом прерывистом вздохе.

— Я рада, — сказала она просто. И этого было достаточно.

III

Лис появилась у костра через несколько минут. Её шаги были бесшумными, но Эйнар почувствовал её присутствие ещё до того, как увидел. Что-то изменилось в воздухе. Появилась та особенная, звенящая нота, которая бывает, когда разведчик приносит плохие вести. Он поднял голову. Лис стояла в трёх шагах, её лицо было бледным, почти прозрачным в сером утреннем свете, и её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Я нашла след, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось напряжение — то самое, которое бывает у зверя, когда он чувствует опасность, но не знает, откуда она придёт. — Восточный периметр. За валуном. Кто-то стоял там несколько часов. Смотрел на лагерь.

— Свежий? — спросил Эйнар, отставляя кружку.

— Очень. Между полночью и рассветом.

— Один?

— Один. Мужчина. Судя по шагу — тяжёлый, уверенный. Не крался. Не прятался. Просто стоял и смотрел.

Эйнар поднялся. Ноги не дрожали. Спина не болела. Он чувствовал себя так, как не чувствовал себя много месяцев — с тех пор, как впервые коснулся Стекла и начал платить. Сегодня он не заплатил ничего. И это было главным.

— Покажи, — сказал он.

Они пошли к восточному краю лагеря. Эйнар — первым, его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Лис — за ним, бесшумно, как тень, как призрак, как память. За ними, на почтительном расстоянии, двигалась Ирис — не потому, что её позвали, потому, что она не могла оставаться в лагере, не зная, что происходит.

След лежал за валуном. Эйнар опустился на корточки, изучил отпечаток. Пальцы правой руки, живой, сильной, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами, зависли над следом, не касаясь его. Он видел то же, что и Лис: старый, сбитый сапог, износ на внешней стороне каблука, глубокий, уверенный шаг. Но он видел и больше. Он видел, как человек стоял: сначала

на правой ноге, перенося вес на левую, потом наоборот. Человек нервничал. Или мёрз. Или не мог стоять спокойно, потому что боялся.

— Он не был уверен, что хочет приближаться, — сказал Эйнар, поднимаясь. — Он стоял, смотрел, решал. И решил не входить.

— Откуда ты знаешь? — спросила Ирис.

— Следы ног. Он переминался с ноги на ногу. Сначала одно положение, потом другое. Если бы он знал, зачем пришёл, он бы стоял твёрдо. А он сомневался.

Лис присела рядом с валуном, провела пальцами по мху. На зелёной, влажной поверхности остались лёгкие, почти невидимые вмятины — от локтя, от предплечья. Человек опирался на камень, когда стоял. Долго. Часами.

— Он ждал, — сказала Лис. — Не просто смотрел. Ждал. Чего-то. Может быть, сигнала. Может быть, рассвета. Может быть, нас.

Эйнар подошёл к валуну, положил ладонь на холодный, шершавый камень. Металл протеза звякнул о поверхность, оставив короткий, сухой звук, похожий на щелчок кости. Закрыв глаза. Не для того, чтобы увидеть видение — дара больше не было, пустота молчала. Для того, чтобы почувствовать. Собрать воедино запахи, звуки, ощущения.

Воздух был чистым — ни сладковатой приторности скверны, ни металлического привкуса пустоты. Только лес, только мох, только утренняя свежесть. Человек не нёс в себе тьмы. Он был живым. Обычным. Человеческим.

— Он не двойник, — сказал Эйнар, открывая глаза. — И не тень. Человек. Живой. И он хотел, чтобы мы его нашли. Иначе не оставил бы таких чётких следов.

IV

Рагнар пришёл через несколько минут, когда весть о следе уже разнеслась по лагерю. Его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щеку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он нёс меч — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью и клинком, который помнил кровь не одного врага. Его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимали рукоять с такой силой, что костяшки побелели.

— Лазутчик, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение. — Корвус мёртв, но его тени остались. Может быть, один из них выжил. Может быть, кто-то из бывших солдат. Может быть, новый посланец пустоты.

— Нет, — сказал Эйнар, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как надежда. — Не тень. И не солдат. Слишком осторожно для солдата. Солдат стоит твёрдо, не переминается. А этот сомневался.

— Тогда кто? — спросил Рагнар, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Местный? Охотник? Отшельник? В этих горах никто не живёт. Здесь даже зверидохнут от скверны.

— Не знаю, — ответил Эйнар, и он посмотрел на след, который уходил от валуна в лес, в сторону скал, туда, где дорога исчезала среди замшелых сосен и острых, чёрных выступов. — Но он не ушёл далеко. След свежий. Можем догнать.

— Или попасть в ловушку, — сказал Ворн, подходя к ним. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была осторожность. Та самая, которая бывает у людей, привыкших оценивать шансы на выживание. — Если это ловушка — если нас выманивают из лагеря, — ударят с другой стороны. Оставят без защиты. Перебьют всех, кто не может сражаться.

— Тогда мы разделимся, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Я, Лис, Рагнар и трое «Волков» идём по следу. Ворн, ты остаёшься в лагере. Укрепляете периметр. Выставляете двойные дозоры. Никого не выпускаете. Никого не выпускаете.

— А если вы не вернётесь? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— Вернёмся, — ответил Эйнар, и он посмотрел на неё. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — была уверенность. Не та, наивная, которая не знает сомнений, а та, выстраданная, которая прошла через огонь и воду и вышла с другой стороны целой.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать. Она не сказала «будь осторожен». Не сказала «возвращайся». Не сказала «я люблю тебя». Она просто сжала его правую руку — живую, тёплую, настоящую — и не отпускала. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

Часть вторая. Погоня в скалы

V

Отряд выступил через четверть часа.

Эйнар шёл первым, за ним — Лис, её единственный глаз сверкал в сером утреннем свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Рагнар и трое «Волков» — люди в чёрных, потёртых доспехах, с волчьими головами на нашивках, — замыкали. Они шли быстро, но осторожно, не поднимая шума. След был чётким, почти наглым — человек не пытался его скрыть. Широкие шаги, уверенные повороты, редкие остановки. Он шёл так, как идут по знакомой тропе, не боясь заблудиться, не боясь погони.

Лес становился всё гуще, всё темнее. Деревья росли так близко друг к другу, что местами приходилось пробираться боком, и их кроны смыкались над головой, превращая небо в узкую, дрожащую щель, похожую на трещину в старом, зажившем стекле. Пахло прелыми листьями, грибами и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом, который Эйнар знал слишком хорошо. Запахом пустоты. Но он был слабым, далёким, почти неосязаемым. Не скверна — память о скверне.

— Он знает эти места, — сказала Лис, не оборачиваясь. — Не просто идёт — выбирает путь. Там, где камни, там, где сухо. Не лезет в грязь, не ломает ветки. Опытный. Очень опытный.

— Или местный, — ответил Эйнар. — Тот, кто живёт здесь. Или жил.

— В этих горах никто не живёт, — повторил Рагнар. — Мы проверяли. Десять лет назад были деревни. Потом пришёл Корвус. Вырезал всех. Сжёг дома. Отравил колодцы. Те, кто выжил, ушли на юг. Или на север. Или в пустоту.

— Значит, кто-то вернулся, — сказал Эйнар, и он указал на свежий сломанный сук на уровне плеча. Человек проходил здесь недавно. Может быть, час назад. Может быть, меньше.

След начал забирать вверх, когда лес расступился, уступив место скалам. Серые, острые выступы, покрытые мхом и низким, колючим кустарником, громоздились друг на друга, как кости великанов, которые умерли давно, но не упали. Тропа сузилась, превратилась в едва заметную тропку, выходящую между камнями. Ступени были скользкими от утренней росы, осыпи — опасными, готовыми в любой момент обрушиться вниз.

Эйнар не замедлился. Его ноги — сильные, здоровые, настоящие — уверенно находили опору. Он не смотрел под ноги — он смотрел вперёд, туда, где тени сгущались и обретали форму. Лис шла за ним, не отставая, её нож был наготове. Рагнар и «Волки» — чуть позади, растянувшись цепью, чтобы не столпиться на узком участке.

VI

Первый привал человек сделал на небольшой площадке, откуда открывался вид на долину. Эйнар нашёл это место по следам: примятая трава, окурки трубки — самокрутки из грубой, самодельной бумаги, набитой табаком с резким, смолистым запахом, непохожим на то, что курили в южных Доменах. Табак был чужим, северным, с горьковатым привкусом и запахом вереска.

Лис подняла окурки, поднесла к носу. Понюхала. Скривилась.

— Самостоя, — сказала она. — Грубая. Дешёвая. Такие курят изгнанники. Или те, кто долго живёт в горах и не может позволить себе нормального табака.

— Или те, кто не хочет оставлять следов, — добавил Рагнар. — Свои трубки не курят на привалах, если боятся погони. А этот курил спокойно. Не прятался.

Эйнар осмотрел площадку. Следы ног — те же, что и внизу. Старый, сбитый сапог, износ на внешней стороне каблука. Человек сидел здесь, смотрел на долину, на их лагерь, который

отсюда был виден как на ладони. Сидел долго — следы от ног были глубокими, вдавленными во влажную землю с той уверенной силой, которая бывает у людей, привыкших ждать.

Он подошёл к краю площадки, посмотрел вниз. Лагерь был маленьким, серым пятном среди зелени, но Эйнар различал палатки, повозки, фигуры людей, которые двигались между костров. Ирис, наверное, уже раздавала завтрак. Альрик, наверное, сидел у контейнера с остатками Стекла, перебирая осколки пыли. Ворн, наверное, выставял дозоры. Они были далеко. Слишком далеко. И в то же время — слишком близко.

— Он мог ударить отсюда, — сказала Лис, подходя к нему. — Из лука. С арбалетом. Даже с камнем. Эта площадка — идеальная огневая точка. Весь лагерь как на ладони.

— Но он не ударил, — ответил Эйнар. — Он только смотрел.

— Значит, он не хотел убивать. Или не хотел убивать нас.

— Или не хотел убивать сейчас.

Он вернулся к следам, нашёл то, что искал — несколько царапин на плоском камне, служившем человеку столом или подставкой. Царапины были неглубокими, но чёткими, сделанными острым предметом — возможно, ножом, возможно, наконечником стрелы. Они складывались в знаки, в письмена, в слова.

Эйнар не узнал язык. Символы были чужими, древними, с закруглёнными углами и длинными, вертикальными чертами, похожими на стволы деревьев. Он провёл пальцем по одному из знаков, чувствуя холод камня, холод времени, холод забытой памяти.

— Что это? — спросил Рагнар, наклоняясь.

— Не знаю, — ответил Эйнар. — Но кто-то знал, что мы придём. Знал, что мы найдём это место. И оставил послание.

VII

Альрика привели через час. Эйнар приказал гонцу — молодому парню из «Серых Волков», которого звали Торкель, — бегом вернуться в лагерь и привести старого хранителя. Торкель не спросил зачем. Не усомнился. Не замедлился. Он просто развернулся и побежал, исчезнув в лесу так быстро, как будто его и не было.

Альрик поднялся на площадку тяжело, опираясь на посох. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не спал. Никогда не спал, когда Эйнар был в разведке. Спать, когда твой командир в горах, а ты сидишь в лагере с остатками Стекла и памятью о пустоте, — значит умереть. Он знал это. Он помнил это. Он жил с этим.

— Покажи, — сказал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья.

Эйнар указал на камень. Альрик опустился на колени, не обращая внимания на холод, на сырость, на острые края, которые впивались в его старые, больные колени. Пальцы — тонкие,

бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли, — зависли над царапинами, не касаясь их. Он не просто смотрел — он читал. Читал знаки, которые были старше его, старше Корвуса, старше Чёрного Пика.

— Это старый северный диалект, — сказал он наконец, и голос его был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось напряжение — то самое, которое бывает у человека, который узнал правду, но не знает, как её сказать. — Язык изгнанников. Тех, кто ушёл в горы после того, как Корвус пришёл к власти. Они говорили на нём, чтобы не понимали слуги пустоты.

— Что здесь написано? — спросил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту.

Альрик смотрел на знаки долго, изучающе. Потом медленно, слово за словом, перевёл:

— «Пустой идёт». «Смотреть». «Не трогать».

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад. Люди переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, внизу, в долине, перекликались часовые.

— Он знал, что ты придёшь, — сказала Лис. — Не просто догадывался — знал. И он не боится. Не прячется. Он наблюдает. Как учёный за экспериментом.

— Или как охотник за добычей, — добавил Рагнар.

— Или как тот, кто ждёт, — сказал Эйнар, и он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. — Идём дальше. След не остыл.

VIII

След повёл вверх, туда, где скалы смыкались, образуя узкие, тёмные расщелины, в которые не проникал солнечный свет. Здесь было холодно, сыро, пахло камнем, старостью и ещё чем-то — металлическим, острым, почти электрическим. Как перед грозой. Как перед битвой. Как перед концом.

Лис шла первой, её единственный глаз сканировал стены, выступы, расщелины. Она искала засаду. Искала ловушку. Искала смерть, которая могла ждать их за каждым поворотом. Но след был чистым, ровным, уверенным. Человек не боялся. Он знал эти скалы, как свои пять пальцев. Он знал, где наступить, чтобы не сорваться. Где опереться, чтобы не упасть. Где замереть, чтобы не услышали.

— Он ведёт нас, — сказала Лис, не оборачиваясь. — Не убегает — ведёт. Прямо. Словно мы идём по нитке.

— Или по лезвию, — ответил Рагнар.

Тропа сузилась настолько, что можно было идти только по одному. Справа и слева — чёрные, маслянистые стены, блестящие в свете факелов, которые зажгли «Волки», потому что дневной свет сюда не проникал. Сверху — узкая, дрожащая щель, похожая на трещину в старом, зажившем стекле. Снизу — темнота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. Пропась, которая ждала.

Эйнар не смотрел вниз. Он знал, что если посмотрит — увидит не камни. Увидит пустоту. Ту самую, которая жила в нём с рождения. Которая ждала. Которая требовала. Но теперь пустота молчала. Не звала. Не шептала. Не пела. Она просто была. Как память. Как имя. Как прошлое, которое не вернуть.

— Остановитесь, — сказал он, поднимая руку.

Отряд замер. Только дыхание, только запах пота и старой кожи, только шелест факелов. Эйнар прислушался. Где-то впереди, за поворотом, за стеной, за камнем, было движение. Не шорох — дыхание. Тихое, ровное, почти механическое. Кто-то ждал. Кто-то знал, что они придут. Кто-то готовился.

— Он там, — сказал Эйнар, и он вынул обсидиановый клинок. Металл блеснул в свете факелов, но не отразил их — только впитал, превратил в тьму, в пустоту, в ожидание. — Приготовьтесь.

Часть третья. Тот, кто ждал

IX

Они вышли на площадку — небольшую, круглую, окружённую скалами со всех сторон. Отсюда не было видно ни лагеря, ни долины, ни неба. Только камень. Только тьма. Только ожидание. В центре площадки стоял человек.

Он был высоким, сутулым, закутанным в длинный, тёмный плащ, потрёпанный, заштопанный в нескольких местах грубой, суровой ниткой. Его лицо скрывал капюшон — тёмный, надвинутый глубоко, так, что не было видно ни глаз, ни рта, ни возраста. В руке — посох. Старый, потрескавшийся, обмотанный кожей там, где ладонь натирала мозоли. На поясе — нож, короткий, широкий, с чёрной рукоятью, который носили на севере, в Западном Домене, там, где леса были дремучими, а звери — опасными.

Человек не двинулся, когда они вошли. Не поднял рук. Не попытался бежать. Он просто стоял, и его молчание было тяжелее любых слов.

— Эйнар, — сказал он, и голос его был низким, хриплым, но в нём не было угрозы. Была усталость. Такая же, как у Эйнара. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая. — Зеркальный Пророк. Я ждал тебя.

Лис сделала шаг вперёд, её нож блеснул в свете факелов. Рагнар поднял меч. «Волки» рассредоточились, блокируя возможные пути отхода. Эйнар поднял руку — левую, с протезом, с обсидиановым клинком — и они замерли.

— Кто ты? — спросил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

Человек медленно поднял руки, откинул капюшон.

Лицо было старым, морщинистым, с глубокими тенями под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут. Кожа — бледная, почти прозрачная, с сеткой мелких морщин, которые прорезали её, как трещины прорезают старый, высохший лёд. Глаза — тёмные, живые, без точечных зрачков, без пустоты, без страха. Они смотрели на Эйнара с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Эйрик, — сказал он. — Изгнанник. Бывший разведчик Западного Домена. Я шёл за вами три дня. Ждал, когда останусь один. Ждал, когда вы найдёте след, который я оставил.

— Зачем? — спросил Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Зачем ты следил за нами? Зачем привёл сюда? Зачем не убил, когда мог?

Эйрик смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я не убиваю, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Я убивал. Много лет назад. Когда служил Корвусу. До того, как понял, кому служу. До того, как увидел пустоту. До того, как сбежал.

— Ты служил Корвусу? — спросила Лис, и её единственный глаз сверкал, как уголь, как лезвие, как надежда.

— Я был его тенью, — ответил Эйрик, и он опустил на камень, положил посох поперёк колен. Его движения были медленными, осторожными, как у человека, который не хочет провоцировать. — Десять лет. Следил, убивал, доносил. А потом я увидел своё отражение в одном из его зеркал. Оно было пустым. Совсем. Ни глаз, ни рта, ни имени. Я понял, что становлюсь пустотой. Что если не уйду — исчезну. Стану пылью. Буду петь вместе с ней. Я сбежал. Спрятался в горах. Жил один. Забыл, кто я. Забыл, откуда пришёл. Забыл, зачем живу.

— А потом? — спросил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— А потом я услышал о тебе, — сказал Эйрик, и он поднял голову, посмотрел на Эйнара. В его глазах — тёмных, живых, человеческих — было что-то, чего Ирис не видела раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Узнавание. — Слухи. Легенды. Песни, которые поют в южных Доменах. Зеркальный Пророк, который разбил Стекло, победил Корвуса, закрыл дверь в пустоту. Я не верил. Потом я увидел тебя. В лесу. Ты шёл, и твоя рука была целой. Твои глаза были живыми. Твоя тень была настоящей. Ты не был пустотой. Ты был человеком. И я понял: я должен рассказать тебе то, что знаю.

Рагнар не верил. Стоял с мечом наготове, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйрика, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была ненависть. Чистая, беспримесная, почти животная ненависть человека, который потерял слишком много своих и не мог простить тем, кто служил палачам.

— Ты служил Корвусу, — сказал он, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как проклятие. — Ты убивал его слуг. Ты предавал его врагов. Ты продавал своих. Почему мы должны тебе верить? Почему мы не должны убить тебя прямо сейчас, здесь, на этом камне?

— Потому что я знаю то, что не знаете вы, — ответил Эйрик, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Корвус был не первым. И не главным. Пустота не умерла с ним. Она ищет нового хозяина. Или не хозяина — вместилище. Или не вместилище — зеркало. Какая разница?

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Люди переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, в глубине расщелины, капала вода — мерно, тоскливо, почти бесконечно.

— Что ты знаешь? — спросил Эйнар, и он сделал шаг вперёд, останавливаясь в трёх шагах от Эйрика. — Говори. И не лги. Я чувствую ложь. Это моё ремесло. Или было. Теперь я просто человек. Но я всё ещё помню, как отличить правду от пустоты.

Эйрик смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Западный Домен, — сказал он, и голос его стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Там всё началось. За десять лет до того, как Корвус пришёл к власти. Зеркала начали чернеть. Сначала в одном доме, потом в другом, потом в целых деревнях. Люди смотрели в них и не видели себя. Только пустоту. А потом из зеркал начали выходить двойники. Не такие, как те, что напали на вас вчера. Другие. Старые. Умные. Они не убивали сразу — они ждали. Наблюдали. Учились. А потом Корвус нашёл способ управлять ими. Он заключил сделку с пустотой. Он стал её голосом. Её рукой. Её памятью.

— И теперь, когда он мёртв, — сказала Лис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую осторожность, — двойники ищут нового хозяина.

— Они ищут того, кто помнит, — ответил Эйрик, и он посмотрел на Эйнара. В его глазах — тёмных, живых, человеческих — была правда. Та самая, которую он нёс в себе десять лет, с тех пор как сбежал от Корвуса. Та самая, которая была тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты. — Они ищут память. Самую сильную память. Самую яркую. Самую больную. Они ищут тебя, Зеркальный Пророк. Не потому, что ты сильный. Потому, что ты помнишь. Помнишь всех, кто умер. Помнишь всех, кто ушёл. Помнишь всех, кто исчез. Твоя память — это дверь. И они хотят войти.

Эйнар молчал. Долго. Так долго, что Лис начала считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом он медленно опустился на камень напротив Эйрика. Положил обсидиановый клинок на колени. Посмотрел в глаза изгнанника — тёмные, живые, человеческие. Без пустоты. Без страха. Без надежды.

— И ты хочешь, чтобы я закрыл эту дверь, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение.

— Я хочу, чтобы ты не открывал её, — ответил Эйрик. — Корвус открыл. И пустота вошла. Я не хочу, чтобы это повторилось. Ты — единственный, кто может её закрыть. Не силой — памятью. Не клинком — именем. Не ненавистью — правдой.

— Почему я? — спросил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихую, почти молитвенную боль. — Почему не ты? Ты тоже был Пустым. Ты тоже смотрел в пустоту. Ты тоже знаешь, что такое платить.

— Потому что я отвернулся, — сказал Эйрик, и он опустил голову. Его плечи дрожали — не от холода, от того, что он сдерживал слёзы. Или не сдерживал — позволял им течь. Какая разница? — Я отвернулся, когда увидел пустоту. Я закрыл глаза. Я забыл. Я перестал помнить. Я перестал платить. Я перестал быть собой. А ты — нет. Ты смотрел. Ты помнил. Ты платил. Даже когда это убивало тебя. Даже когда это превращало тебя в стекло. Даже когда это забирало твою руку. Ты не отвернулся. Ты — единственный, кто может смотреть на пустоту и не отводить взгляд. Поэтому ты.

Часть четвёртая. Тень на скалах

XII

Эйнар поднялся. Его ноги не дрожали. Спина не болела. Он чувствовал себя так, как не чувствовал себя много месяцев — с тех пор, как впервые коснулся Стекла и начал платить. Но в груди — там, где раньше была пустота, — теперь было что-то другое. Тяжесть. Не физическая — метафизическая. Тяжесть знания. Тяжесть ответственности. Тяжесть имени, которое он носил, даже когда хотел забыть.

— Ты пойдёшь с нами, — сказал он, и это был не вопрос — приказ. — Ты знаешь горы. Ты знаешь тропы. Ты знаешь двойников. Ты будешь проводником.

Эйрик смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно поднялся, опираясь на посох. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — было что-то, чего никто не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Хорошо, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я пойду с тобой. Не потому, что верю в победу. Потому, что устал прятаться. Устал ждать. Устал помнить. Я пойду. И, может быть, умру. Но умру не один.

XIII

Они пошли вниз, когда солнце уже клонилось к закату. Тени становились длиннее, и холод пробирался под одежду, под кожу, в кости. Эйнар шёл первым, за ним — Эйрик, за ним — Лис, Рагнар и «Волки». Они спускались по той же тропе, по которой поднимались, но теперь в ней было что-то другое. Не угроза — покорность. Как будто скалы наконец признали их право здесь находиться.

Лагерь встретил их настороженной тишиной. Люди выходили из палаток, из-за камней, из-за повозок, и их лица были бледными, усталыми, почти прозрачными. Они смотрели на Эйрика, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками, и тёмных, глубоких, с красными прожилками — был страх. Он был чужаком. Он был неизвестностью. Он был угрозой, которую они не могли оценить.

Ирис вышла из шатра, увидела Эйнара, увидела незнакомца. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была тревога. Она подошла к Эйнару, взяла за руку — правую, живую, тёплую.

— Кто это? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Эйрик, — ответил Эйнар. — Изгнанник. Бывший разведчик Корвуса. Он будет помогать нам.

Ирис смотрела на Эйрика долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказала она, и она повернулась, ушла в шатёр, оставив их одних.

XIV

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар сидел у костра, глядя на угли, и слушал тишину. Пыль не пела. И это было хорошо. Ирис спала в шатре — или притворялась, что спит. Альрик дремал у контейнера с остатками Стекла, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

Эйрик сидел напротив, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — не было страха. Была усталость. Такая же, как у Эйнара. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Ты веришь, что мы сможем закрыть дверь? — спросил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Не знаю, — ответил Эйрик, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Я знаю только, что если не попытаемся — пустота войдёт. И тогда не будет ни Доменов, ни людей, ни памяти. Только пыль. И песня. И забвение.

Он замолчал. Эйнар молчал. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на краю лагеря, перекликались часовые. И тишина. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

XV

Эйнар смотрел на звёзды. Они были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

«Наблюдатель, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Ты здесь. Ты всегда здесь. Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?»

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только тишина стала плотнее.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той тишине, которая была лучше любой песни.

«Я не знаю, что будет завтра, — подумал он. — Я не знаю, выживу ли я. Я не знаю, увижу ли завтрашний закат. Я знаю только, что я должен идти. Потому что если не я — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Эйнар. Зеркальный Пророк. И я не сдаюсь».

Он открыл глаза. Тень исчезла. Только костёр, только тишина, только Эйрик, который сидел напротив и смотрел на него с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Ты видел его? — спросил Эйрик, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Видел, — ответил Эйнар. — Он всегда здесь. Смотрит. Ждёт. Помнит.

— И ты не боишься?

— Я боюсь не его. Я боюсь себя. Боюсь, что завтра я проснусь и перестану помнить, кто я. Кем был. Кем стал. Боюсь, что пустота заполнит меня, как заполнила Корвуса. Боюсь, что я стану дверью, через которую войдёт тьма.

Эйрик смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Ты не станешь дверью, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную уверенность. — Ты

— ключ. Или не ключ — зеркало. Или не зеркало — память. Какая разница? Ты — тот, кто помнит. А память не становится пустотой. Она становится правдой.

XVI

Эйнар остался один. Эйрик ушёл в темноту, обещав вернуться на рассвете. Костёр догорал, угли пульсировали — в такт его сердцу, в такт его дыханию, в такт той тишине, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Он посмотрел на свои руки. Правую — живую, сильную, с длинными пальцами, которые помнили посох, меч, клинок. Левую — культю, скрытую протезом, который стал частью его, как память, как имя, как пустота, которая больше не звала.

Он вспомнил Терновую Гриву. Снег, кровь, крики. Мать, которая бросила ему сапоги отца. Хельгу, которая влила в него настойку немоты. Он вспомнил вкус пепла на языке. Вспомнил, как стоял на коленях у ворот, и ветер дул в спину, и никто не оглянулся. Никто, кроме Ирис.

Он поднялся, подошёл к её шатру, заглянул внутрь. Она спала, свернувшись калачиком, поджав колени к животу, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете умирающих углей. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она спала — или притворялась, что спит.

Он не стал её будить.

Просто смотрел, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — было что-то, чего никто не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Благодарность. Немая, тяжёлая, почти болезненная.

Он вернулся к костру, сел на камень, закрыл глаза.

И уснул под утро — тяжело, беспокойно, но без видений. Только тишина. Только пустота. Только рука на плече — не Наблюдателя, Ирис. Она пришла, села рядом, положила голову ему на плечо. И её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдаётся.

И этого было достаточно.

XVII

За скалами, на востоке, там, где луна ещё не взошла, а звёзды уже погасли, мелькнула тень. Длинная, тонкая, с неестественными пропорциями. Она стояла на краю обрыва, глядя на лагерь, на Эйнара, на его спящую фигуру, сжатую в кресле у потухшего костра.

Она не двигалась. Не дышала. Не ждала. Она просто была. Как пустота. Как память. Как имя, которое исчезает.

А потом — она исчезла.

Растворилась в темноте. Стала ничем. Как и те, кому она принадлежала.

Только пыль на камне, серая, маслянистая, мёртвая, напоминала о том, что здесь кто-то был.

Но пыль не пела.

И это было хуже всего.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 3

ГЛАВА 4. ПЕРВАЯ ЗАСАДА

Часть первая. Ущелье трёх теней

I

Лагерь проснулся задолго до рассвета — не от крика, не от сигнала тревоги, а от той особенной, липкой тишины, которая предшествует большой беде. Эйнар не спал. Он уже не спал третью ночь подряд, и это перестало быть событием — его бессонница стала такой же привычной, как дыхание, как тяжесть протеза на левом плече, как тихое, едва уловимое присутствие пыли Стекла в мешке Альрика.

Он сидел у потухшего костра, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и смотрел на восток. Небо там начинало светлеть — не рассветом, той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а тяжесть осталась. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тревожно. Не страх — предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Правая рука, живая, сильная, лежала на обсидиановом клинке, который он положил поперёк колен. Клинок был чёрным, маслянистым, почти не отражающим свет. Он не блестел в сером утреннем полумраке — он впитывал его, превращал в пустоту, в ожидание, в память. Левая рука, скрытая протезом, покоилась на поясе рядом с пустыми ножнами — протез был старым, сделанным ещё в Тракте, кожаным, с металлическими кольцами внутри и ремнями, которые крепились к плечу. Вчера в бою он выдержал. Сегодня — неизвестно.

Ирис вышла из шатра бесшумно, как тень, как призрак, как память. Её лицо было бледным, почти прозрачным в сером предрассветном свете, и под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни. Она не спала. Никогда не спала, когда Эйнар не спал. Это стало их общим ритуалом, их общей бессонницей, их общей памятью.

— Ты так и не лёг, — сказала она, садясь рядом на холодный камень. Голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Не мог, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть знания.

Тяжесть предчувствия. Тяжесть пустоты, которая больше не звала, но и не отпускала. — Эйрик сказал, что вчерашние двойники были только разведчиками. Сегодня придут настоящие. Я хочу быть готовым.

— Ты всегда готов, — сказала она, и она взяла его за правую руку — живую, тёплую, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами, которые помнили посох, меч, клинок. — Слишком готов. Как будто ждёшь не боя — смерти. Как будто тебе надоело жить.

Он сжал её пальцы. Крепко. Почти до боли. Не потому, что хотел причинить боль — потому, что хотел убедиться, что она настоящая. Живая. Тёплая. Человеческая. Не отражение. Не двойник. Не пустота.

— Мне не надоело жить, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихую, почти прощальную уверенность. — Я просто устал бояться. Устал ждать. Устал смотреть, как умирают те, кого я не успел спасти. Сегодня я не буду ждать. Сегодня я пойду первым.

Она не ответила. Только сжала его руку в ответ. И этого было достаточно.

II

Лис и Эйрик ушли на разведку за час до рассвета, когда небо на востоке было ещё чёрным, а звёзды — холодными, как обломки старого льда. Они двигались бесшумно, как тени, как призраки, как память, и их следы на влажной утренней земле были едва заметны — только для того, кто знал, куда смотреть.

Эйрик вёл. Он знал эти горы. Знал каждый камень, каждую трещину, каждую расселину, где могла прятаться смерть. Десять лет изгнания, десять лет одиночества, десять лет бегства от собственной тени — они не прошли даром. Он научился читать землю, как книгу. Научился слышать тишину, как музыку. Научился чувствовать пустоту, как запах.

Лис шла за ним, её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в темноте, как уголь, как лезвие, как надежда. Она не доверяла Эйрику. Не могла. Слишком много лет она училась не доверять бывшим слугам Корвуса. Слишком много раз те, кто клялся в преданности, оказывались тенями, двойниками, пустотой. Но она верила в чутьё Эйнара. А Эйнар верил этому изгнаннику. И этого пока было достаточно.

Они поднялись на гребень, откуда открывался вид на ущелье — длинное, извилистое, с чёрными, маслянистыми стенами, которые блестели в свете утренней зари, как зеркало, как лёд, как пустота. Местные проводники из «Серых Волков» называли это место «Горло Каменного Зверя». Старое название, доставшееся от тех времён, когда Домены ещё не знали Распада, а война была войной людей с людьми, а не с пустотой. Говорили, что здесь, в этих тесных, сходящихся стенах, когда-то заживо съели целый отряд кочевников — то ли камни сомкнулись, то ли земля разверзлась, то ли сам Зверь проснулся и почувствовал запах крови.

Эйрик не верил в легенды. Он верил в то, что видел своими глазами. А видел он ущелье, где можно устроить засаду, из которой не выйти живым.

— Три уровня атаки, — сказал он тихо, и голос его был низким, хриплым, как у человека, который слишком долго молчал и разучился говорить громко. — Сверху — стрелки. Сбоку — копейщики. Снизу — те, кто пойдёт в лоб. Если они ударят одновременно — мы не выдержим и четверти часа.

— Они ударят, — сказала Лис, и это был не вопрос — утверждение. — Они учатся. Вчера они были слепыми и глупыми. Сегодня они будут умнее. Быстрее. Опаснее.

Она опустила на корточки, провела пальцами по земле. Следов не было. Никаких. Ни человеческих, ни звериных, ни тех — неправильных, чёрных, маслянистых, которые оставляли двойники. Земля была чистой, мёртвой, пустой. Как будто здесь никогда никто не ходил. Как будто ущелье само ждало. Как будто оно было живым.

— Они уже здесь, — сказала Лис, поднимаясь. — Я чувствую. Не вижу — чувствую. Холод. Тишину. Ожидание.

Эйрик кивнул. Он тоже чувствовал. Слишком хорошо. Слишком отчётливо. Слишком больно.

— Возвращаемся, — сказал он. — Надо предупредить Эйнара.

III

На обратном пути они нашли тело.

Оно лежало у подножия большого, замшелого валуна, в той самой расселине, где Лис вчера нашла след Эйрика. Молодой парень из «Серых Волков», которого звали Торкель — тот самый, что пережил нападение двойников три дня назад, тот самый, чьё лицо рассыпалось, а потом собралось заново, тот самый, который после боя не мог смотреть в зеркала. Он лежал на спине, его глаза были открыты, и в них — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — застыл ужас. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Ужас перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть.

Горло было перерезано — от уха до уха, глубоко, почти до позвоночника. Но крови не было. Ни капли. Как будто кто-то выпил её, или она испарилась, или её никогда не было. Рана зияла, чёрная, маслянистая, и из неё, из этой бездны, пульсировал слабый, голубоватый свет. Свет, который Лис знала слишком хорошо. Свет Стекла. Свет пустоты. Свет платы.

Лис опустила на колени, не касаясь тела. Пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — зависли в дюйме над раной, не разрушая её. Она изучала края, глубину, рисунок. Порез был слишком ровным, слишком чистым, слишком правильным. Не нож. Не меч. Не копьё. Что-то другое. Что-то, что режет не плоть — память.

— Они не просто убили его, — сказала Лис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Они стёрли его. Имя. Память. Душу. Всё, что делало его человеком. Осталась только оболочка. Пустая. Холодная. Мёртвая.

Эйрик стоял рядом, сжимая посох так, что костяшки побелели. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не плакал. Не кричал. Не молился. Он смотрел на тело Торкеля, и в его глазах — тёмных, живых, человеческих — было что-то, чего Лис не видела раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Вину.

— Я знал, что они придут, — сказал он, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Я знал, что они не остановятся. Я знал, что кто-то умрёт. Я должен был предупредить. Раньше. Сильнее. Громче. Но я молчал. Потому что боялся. Боялся, что вы не поверите. Боялся, что вы прогоните меня. Боялся, что я останусь один. Снова.

Лис поднялась, стряхнула с коленей налипшую грязь. Её единственный глаз был острым, почти безумным. Она смотрела на Эйрика, и в её взгляде не было жалости. Была ярость. Холодная, тяжёлая, почти невыносимая ярость человека, который устал смотреть, как умирают те, кого он не успел спасти.

— Ты проводишь нас обратно, — сказала она, и это был не вопрос — приказ. — Ты расскажешь Эйнару всё, что знаешь. Каждую деталь. Каждый страх. Каждое сомнение. А потом — ты пойдёшь с нами в ущелье. И если мы умрём — ты умрёшь первым. Это твоя плата. За десять лет молчания. За десять лет страха. За десять лет бегства.

Эйрик смотрел на неё долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказал он. — Я заплачу. Как он. Как вы. Как все.

IV

Эйнар выслушал их молча, не перебивая, не задавая вопросов. Сидел на камне у потухшего костра, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

Рядом с ним стояли Рагнар и Ворн, их лица были бледными, почти белыми, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. «Серые Волки» — двести человек в чёрных, потёртых доспехах, с волчьими головами на нашивках — замерли в молчании, ожидая приказа. Ирис стояла в трёх шагах, её руки были скрещены на груди, и в её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была тревога. Альрик сидел у контейнера с пылью Стекла, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Три уровня атаки, — повторил Эйнар слова Эйрика, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Сверху — стрелки. Сбоку — копейщики. Снизу — те, кто пойдёт в лоб. Если они ударят одновременно — мы не выдержим и четверти часа. Значит, мы не дадим им ударить одновременно.

Он поднялся, подошёл к карте, которую Лис набросала углём на плоском камне. Ущелье было изображено схематично — три входа, три уровня, три точки засады. Эйнар обвёл их пальцем — правой рукой, живой, сильной, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами.

— Мы не разделяемся, — сказал он, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как надежда. — Двойники копируют наши движения. Разделение — это удвоение врага. Мы идём плотной колонной. «Серые Волки» — в кольцевую оборону. Лис, Эйрик — в авангарде. Ирис, Альрик — в центре. Я — в центре. Я буду приманкой.

— Нет, — сказала Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты не можешь быть приманкой. Ты — командир. Если ты умрёшь — мы останемся без цели. Без имени. Без надежды.

— Если я не буду приманкой, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность, — они ударят по слабым. По раненым. По тем, кто не может защитить себя. Я не допущу этого. Я — тот, кого они хотят. Я — память. Я — имя. Я — дверь. Пусть приходят ко мне.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Люди переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на востоке, сгущались тучи — серые, тяжёлые, почти чёрные. Они обещали снег. Или дождь. Или то и другое вместе. Неважно.

— Выступаем через час, — сказал Эйнар. — Всем приготовиться.

Часть вторая. Вход в пасть

V

Отряд двинулся в ущелье, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, но не принесё тепла. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнущий снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего даже «Серые Волки», выдавшие виды, замерли на месте.

Эйнар шёл первым. Без посоха. Без щита. Только обсидиановый клинок на поясе и нож в сапоге — короткий, широкий, с чёрной рукоятью, который он носил ещё с Серых Холмов. Его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Он не опирался ни на кого, не хромал, не задыхался после первых же сотен метров. Воздух входил в лёгкие полной грудью, без хрипов, без кашля, без той липкой, чёрной мокроты, которая раньше оставляла на губах вкус пустоты.

За ним шла Ирис — с сумкой бинтов и мазей через плечо, с ножом на поясе, с тревогой в глазах, которую она прятала за маской спокойствия. Её лицо было бледным, но не болезненно-бледным, а той особенной, военной бледностью, когда человек давно не спал, но держится на одной воле, на одной надежде, на одном имени. За ней — Альрик, несший мешок с пылью Стекла. Мешок был старым, кожаным, перетянутым ремнями, и в нём, в этой глубине, в этом ожидании, пульсировало что-то чёрное, маслянистое, живое.

Слева — Лис, её единственный глаз сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Правая рука лежала на рукояти ножа, готовая выхватить его в любой момент. Она не смотрела под ноги — она смотрела вперёд, в глубину ущелья, где тени сгущались и обретали

форму. Справа — Эйрик, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — не было страха. Была решимость. Он обещал заплатить. Он собирался заплатить.

«Серые Волки» растянулись цепью, прочёсывая ущелье. Чёрные, потёртые доспехи, волчьи головы на нашивках, мечи и копья наготове. Они не разговаривали. Не перешёптывались. Не кашляли. Только шаги. Только дыхание. Только тишина, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

VI

Стенки ущелья были чёрными, маслянистыми, блестящими в свете тусклого, полуденного солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. Кое-где в них были вмазаны зеркальные панели — старые, потускневшие, покрытые тёмной, маслянистой патиной. В них ничего не отражалось. Только пустота. Только ожидание. Только страх.

Эйнар шёл, и его взгляд скользил по этим зеркалам, но не задерживался. Он знал: нельзя смотреть в них слишком долго. Иначе увидишь не себя — пустоту. А когда увидишь пустоту — она увидит тебя. И тогда — конец. Или начало. Какая разница?

Альрик, шедший в центре колонны, вдруг остановился. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на одно из зеркал — большое, ростовое, вделанное в стену на высоте человеческого роста. В нём ничего не отражалось. Только чёрная, маслянистая глубина. Но в этой глубине, в этом ожидании, в этой пустоте, Альрик видел то, чего не видели другие.

— Там кто-то есть, — сказал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Не живой. Не мёртвый. Что-то между. Оно смотрит на нас. Оно ждёт. Оно знает наши имена.

Эйнар подошёл к зеркалу, остановился в шаге. Коснулся поверхности правой рукой. Металл был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. В отражении — того, что должно было быть отражением, — он увидел не себя. Молодого, целого, с двумя руками и живыми глазами. С каштановыми волосами, в которых не было седины. С лицом, которое не помнило страха. Увидел тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

— Наблюдатель, — прошептал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как утверждение. — Ты здесь. Ты всегда здесь. Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только тишина стала плотнее.

— Не смотри в него, — сказала Ирис, подходя к нему и дёргая за плечо. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — впились в его правую руку, отрывая от зеркала. — Не смотри, Эйнар. Это ловушка. Они хотят, чтобы ты смотрел. Хотят, чтобы ты помнил. Хотят, чтобы ты стал таким, как Корвус.

Эйнар убрал руку. Зеркало осталось чёрным, маслянистым, пустым. Только лёгкая рябь на его поверхности — как круги на воде после брошенного камня — напоминала о том, что здесь кто-то был. Или не был. Или был, но перестал.

— Мы идём дальше, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — И не смотрим в зеркала. Смотреть только на живых. Смотреть только друг на друга. Смотреть только вперёд.

VII

Они вошли в самую узкую часть ущелья, когда солнце стояло в зените. Здесь стены сходились так близко, что небо превращалось в тонкую, дрожащую щель, похожую на трещину в старом, зажившем стекле. Ширина прохода не превышала десяти шагов — можно было идти только по три человека в ряд. Справа и слева — чёрные, маслянистые стены, блестящие в свете факелов, которые зажгли «Волки», потому что дневной свет сюда почти не проникал. Сверху — узкая, дрожащая щель. Снизу — каменистая тропа, скользкая от утренней росы, с острыми выступами, которые норовили подвернуть ногу.

Эйнар поднял руку — сигнал остановки. Отряд замер. Только дыхание, только запах пота и старой кожи, только шелест факелов. Он прислушался. Где-то впереди, за поворотом, за стеной, за камнем, было движение. Не шорох — дыхание. Тихое, ровное, почти механическое. Кто-то ждал. Кто-то знал, что они придут. Кто-то готовился.

— Они здесь, — сказал он, и он вынул обсидиановый клинок. Чёрная сталь блеснула в свете факелов, но не отразила их — только впитала, превратила в тьму, в пустоту, в ожидание. — К бою.

«Серые Волки» сомкнули щиты. Двести человек в чёрных, потёртых доспехах, с волчьими головами на нашивках, замерли в кольцевой обороне. Копья смотрели вверх, мечи — в стороны, арбалеты — вперёд. Лис и Эйрик вышли в авангард, их ножи блестели в свете факелов. Ирис и Альрик — в центре, за щитами. Эйнар — впереди всех, его обсидиановый клинок был направлен в темноту.

Тишина стала плотной, как смола. Люди замерли, прислушиваясь к собственному сердцу, которое колотилось где-то в горле. Даже факелы горели тише, как будто боялись спугнуть смерть, которая уже выбрала своих жертв.

А потом — тишина лопнула.

Часть третья. Тройной удар

VIII

Первая стрела прилетела из ниоткуда — из темноты, из пустоты, из той самой чёрной, маслянистой глубины, которая жила в зеркалах. Она была чёрной, как обсидиан, как пустота, как память, и летела прямо в грудь Эйнара. Он успел уйти в сторону — резко, почти инстинктивно, и стрела вонзилась в камень, где только что была его голова. Камень треснул — не

от удара, от прикосновения. Чёрная, маслянистая трещина поползла по его поверхности, как корень, как вена, как трещина на Стекле. Камень не раскололся — он умер. Стал серым, трухлявым, рассыпался в пыль. Пыль запела — высоко, тоскливо, почти по-человечески.

— Сверху! — крикнула Лис, и её голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Они на стенах!

Эйнар поднял голову. На выступах, на высоте тридцати, сорока, пятидесяти футов, стояли фигуры. Чёрные, маслянистые, почти неразличимые на фоне чёрного камня. Их лица были скрыты капюшонами, но Эйнар знал: под капюшонами нет ничего. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. В их руках были арбалеты — такие же чёрные, такие же маслянистые, такие же пустые. Они стреляли не болтами — тьмой. Тьмой, которая убивала не тело — память.

Вторая стрела. Третья. Четвёртая. Они летели сверху, как чёрный дождь, как проклятие, как конец. «Серые Волки» подняли щиты, но тьма проходила сквозь дерево и железо, как нож проходит сквозь воду. Она не ранила плоть — она выжигала воспоминания. Те, в кого попадала стрела, падали на землю, их глаза становились пустыми, их лица — гладкими, как стекло, как лёд, как пустота. Они не кричали. Не стонали. Не молились. Они просто забывали, кто они. И умирали.

— Не дышать! — крикнула Ирис, и она бросилась к раненому, но было поздно. Его лицо уже было чёрным, почти обугленным, и изо рта шла пена — чёрная, маслянистая, пульсирующая. — Это не просто тьма. Это скверна. Она убивает память. Не дайте ей коснуться вас!

Эйнар рванул вперёд, к стене, туда, откуда летели стрелы. Его ноги — сильные, здоровые, настоящие — несли его быстро, почти бесшумно. Обсидиановый клинок в правой руке мелькнул чёрной молнией, разрубая очередную стрелу в воздухе. Стрела рассыпалась в пыль, и пыль запела — громко, отчаянно, почти болезненно. Но он не слушал. Он смотрел вверх, туда, где на выступе стоял стрелок — чёрный, маслянистый, пустой.

— Эйнар, стой! — крикнул Рагнар, но было поздно.

IX

Эйнар прыгнул. Не на стену — на выступ, который нависал над тропой на высоте десяти футов. Пальцы правой руки — живые, сильные, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами — вцепились в край, подтянули тело вверх. Левая рука, скрытая протезом, ударила по камню, и металлические кольца внутри кожного раструба заскрежетали, но выдержали. Он перекатился через край, оказался на выступе, лицом к лицу с двойником-стрелком.

Двойник был выше его, шире в плечах, с неестественно длинными руками и пустыми глазами. Его арбалет был уже взведён, и чёрный болт смотрел прямо в грудь Эйнара. Но он не стрелял. Он ждал. Изучал. Копировал.

Эйнар не дал ему времени. Он рубанул снизу вверх, целя в арбалет. Обсидиановый клинок встретил чёрное дерево, и арбалет треснул, рассыпался в пыль, не успев выстрелить. Двойник отшатнулся, его пустые глазницы расширились — не от страха, от удивления. Он не ожи-

дал, что кто-то сможет двигаться так быстро. Не ожидал, что кто-то не побоится прыгнуть. Не ожидал, что кто-то заплатит.

Второй удар — в грудь. Обсидиан вошёл в чёрную, маслянистую плоть, как в масло. Двойник замер. Его тело — плотное, глиняное, почти монолитное — начало трескаться по всей поверхности, как старая, пересохшая земля, которую полил дождь. Трещины шли от груди к лицу, от лица к ногам. Он рассыпался не сразу — кусками, которые падали на камень и превращались в пыль ещё до касания. Пыль запела — громко, отчаянно, почти болезненно. Пыль пела о том, кто помнил. О том, кто не сдался. О том, кто заплатил.

Эйнар не слушал. Он уже прыгал вниз, на тропу, где «Серые Волки» отбивали вторую волну атаки.

Х

Двойники шли с флангов. Они вышли из боковых расселин — не тени, не призраки, а точные копии «Серых Волков». Те же лица, та же броня, те же мечи. Но глаза были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, в которых не было ни страха, ни надежды, ни памяти.

Рагнар первым встретил своего двойника. Тот был точной копией — грубое, обветренное лицо, глубокий шрам через левую щеку, тяжёлый, двуручный меч в руках. Он двигался так же, как Рагнар. Дышал так же. Даже хрипел так же, когда заносил меч для удара.

— Кто ты? — крикнул Рагнар, отбивая удар. Мечи встретились с грохотом, искры посыпались во все стороны, как звёзды, как осколки, как слёзы.

— Я — ты, — ответил двойник, и его голос был голосом Рагнара — низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Только без страха. Без сомнений. Без памяти. Я — лучше.

Он рубанул слева, справа, сверху. Рагнар едва успевал блокировать. Двойник был быстрее. Сильнее. Точнее. Он не уставал. Не колебался. Не боялся. Он был идеальной копией — без слабостей, без потерь, без имени.

— Ты не я! — крикнул Рагнар, отступая. — Я помню Терновую Гриву! Я помню, как мы стояли у ворот, и никто не открывал! Я помню, как умирали мои братья! Ты не помнишь! Ты — пустота!

Двойник замер. На секунду — на миг, на то самое мгновение, которое отделяет жизнь от смерти, память от забвения, отражение от пустоты, — в его пустых глазах мелькнуло что-то живое. Искра. Память. Имя.

Рагнар не ждал. Он рубанул по шее двойника, и тот рассыпался в пыль, не успев даже вскрикнуть.

XI

Эйнар пробивался к центру, туда, где Ирис и Альрик держали оборону. Обсидиановый клинок в его правой руке мелькал чёрной молнией, и каждый удар находил цель. Двойники падали, рассыпались, превращались в пыль, но на их месте появлялись новые. Из расселин, из зеркал, из самой земли. Пустота не знала усталости. Пустота не знала страха. Пустота не знала сомнений.

Лис сражалась спина к спине с Эйриком. Её нож блестел в свете факелов, и на лезвии не было пыли — она сбивала её резкими, короткими движениями, чтобы клинок не затуплялся. Эйрик рубил посохом — старым, потрескавшимся, обмотанным кожей там, где ладонь натирала мозоли. Посох не был оружием, но в его руках он убивал не хуже меча. Каждый удар приходился в голову, в шею, в грудь — туда, где пустота держалась крепче всего.

— Их слишком много! — крикнул кто-то из «Волков», и в его голосе был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Страх перед тем, что ты не успеешь. Не сможешь. Не выживешь.

— Тогда работайте быстрее! — ответил Эйнар, не оборачиваясь.

Он врубился в самую гущу. Лезвие мелькало перед его глазами, как чёрная молния. Рубка справа — двойник теряет голову. Рубка слева — двойник теряет туловище. Удар снизу — двойник рассыпается ещё до того, как понял, что его ударили. Пыль летела в лицо, забивалась в рот, в глаза, в уши. Она была везде. Она была в воздухе, в земле, в нём самом. Эйнар не останавливался. Не вытирал лицо. Не моргал. Только рубил. Только убивал. Только помнил, зачем он здесь.

ХП

Третья волна пришла из ниоткуда — не сверху, не с флангов, а из самой земли. Из чёрной, маслянистой трещины, которая разверзлась в центре тропы, вырвалась тьма. Густая, почти осязаемая, она поднялась в воздух, закружилась, как смерч, и из неё начали выходить фигуры. Не двойники — тени. Чёрные, маслянистые, с неестественно длинными руками и пустыми глазами. Они не копировали лица — они были самой пустотой, самой смертью, самым концом.

Эйнар замер. Впервые за сегодняшний бой он почувствовал холод. Не тот, который пробирает до костей, — другой. Холод, который пробирает до пустоты. До памяти. До имени.

— Отходите! — крикнул он, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Это не двойники! Это тени! Их нельзя убить клинком! Только Стекло! Только память!

Но Стекла не было. Была только пыль. Серый, маслянистый, почти мёртвый пепел в мешке Альрика. Пыль, которая не пела. Пыль, которая молчала. Пыль, которая ждала.

— Альрик! — крикнул Эйнар, и он бросился к старому хранителю. — Открой мешок! Пыль нужна мне! Сейчас!

Альрик не колебался. Его пальцы — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — развязали ремни. Мешок открылся. Пыль — серая, маслянистая, мёртвая — хлынула наружу, но не рассыпалась, как обычная пыль. Она закружилась в

воздухе, как маленький, серый смерч, и в её глубине, в этом ожидании, в этой пустоте, замерцал свет. Холодный, голубоватый, пульсирующий. Свет Стекла. Свет пустоты. Свет памяти.

Эйнар протянул правую руку — живую, сильную, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами — и коснулся пыли.

Часть четвёртая. Гнев памяти

XIII

В этот же миг мир изменился.

Не постепенно, как меняется день, когда солнце уходит за горизонт и тени становятся длиннее, а тишина — глубже. И не внезапно, как обрывается струна на старых гуслях, когда пальцы музыканта застывают в последнем аккорде, а эхо ещё дрожит в воздухе, но уже неживое, не тёплое, не настоящее. Мир изменился так, как меняется лицо умирающего, когда боль уходит и остаётся только тишина. Он стал прозрачным. Или не прозрачным — пустым. Или не пустым — ожидающим.

Эйнар видел всё. Каждый камень, каждую трещину, каждую тень. И он видел нити. Тысячи, десятки тысяч, миллионы тончайших, серебристых нитей, которые переплетались, расходились, сходились в узлы, обрывались, начинаясь заново. Нити были живыми. Они пульсировали — в такт его дыханию, в такт его сердцу, в такт той пустоте, которая жила внутри него. Но теперь — среди этих нитей, в этой паутине, в этом ожидании — он увидел не только вероятности. Он увидел тени. Тех, кто стоял перед ним. Тех, кто пришёл убивать. Тех, кто забыл, кем был.

Он коснулся нити, которая вела от самой большой тени к земле, к ущелью, к пустоте. Нити были чёрными, маслянистыми, почти живыми. Они пульсировали не в такт его сердцу — в такт чему-то другому, что было старше времени. Чему-то, что помнило то, что забыли боги. Чему-то, что ждало своего часа. Он не оборвал её. Не разорвал. Не вырвал. Он вспомнил.

Он вспомнил Терновую Гриву. Снег, кровь, крики. Мать, которая бросила ему сапоги отца. Хельгу, которая влила в него настойку немоты. Вспомнил вкус пепла на языке. Вспомнил, как стоял на коленях у ворот, и ветер дул в спину, и никто не оглянулся. Вспомнил Ирис, которая появилась потом, в лесу, у капкана. Которая сказала: «Я тоже не совсем обычная». Которая не испугалась его дара. Которая не отшатнулась от его пустоты.

Он вспомнил имена. Все имена. Тех, кто умер в Серых Холмах. Тех, кто умер в лагере Гарма. Тех, кто умер в Зеркальном Склепе. Тех, кто умер в зале Хранителя. Тех, кто умер в ущелье. Тех, кто умер в катакомбах. Тех, кто умер в Чёрном Пике. Тысячи имён. Десятки тысяч. Миллионы. Все, кого он помнил. Все, кого он нёс в своей памяти, как бремя, как плату, как имя.

— Я помню вас, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я помню всех. Каждое имя. Каждое лицо. Каждую смерть. Вы не забыты. Вы не исчезли. Вы — моя память. Моя плата. Моё имя.

Тени замерли. Их чёрные, маслянистые тела начали дрожать — мелко, нервно, в такт чему-то, что было глубже, чем биение сердца. Глубже, чем дыхание. Глубже, чем имя.

— Смотрите, — сказал Эйнар, и он поднял правую руку — живую, сильную, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами, на которых всё ещё пульсировала пыль Стекла. — Смотрите на меня. Я — ваше отражение. Я — ваша память. Я — ваше имя. Вы не можете убить меня, потому что я — это вы. А вы не можете убить себя, потому что вы — пустота. А пустота не убивает. Она только забывает. Я помню. Я не забуду. Я не дам вам исчезнуть.

Тени закричали. Не голосами — тишиной. Тишиной, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня. Они рассыпались в пыль — не постепенно, не кусками, а сразу, целиком, как будто их никогда и не было. Пыль запела — громко, отчаянно, почти болезненно. Пыль пела о том, кто помнил. О том, кто не сдался. О том, кто заплатил.

XIV

Бой кончился так же внезапно, как и начался.

Тишина стала плотной, как смола, но теперь в ней не было страха — было удивление. Люди смотрели на то, что осталось от двойников и теней. Только серая, маслянистая пыль, покрывающая дно ущелья, как первый снег. Она лежала на камнях, на оружии, на одежде, и в ней, в этой глубине, в этом ожидании, не было ничего. Только пустота.

Эйнар стоял в центре, тяжело дыша, но не сгибаясь. Его правую руку покрывала пыль Стекла — серая, маслянистая, пульсирующая. Она не рассыпалась, не исчезала, не пела. Она просто была. Как память. Как имя. Как пустота, которая больше не звала.

Он опустил руку, стряхнул пыль на землю. Она упала, смешалась с пылью двойников, исчезла, как исчезает память, когда некому её помнить. Эйнар посмотрел на свои руки — правую, живую, сильную, покрытую чёрной, маслянистой пылью, и левую, скрытую протезом, который выдержал, не сломался, не подвёл. Он пошевелил пальцами. Они слушались. Сжал их в кулак — костяшки побелели, потом снова порозовели. Разжал. Кровь бежала по сосудам быстро, ровно, без тех пугающих пауз, которые раньше заставляли Ирис просыпаться по ночам.

— Ты использовал дар, — сказала Ирис, подходя к нему. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — был страх. Не перед ним — за него. — Ты обещал, что не будешь. Что Стекло больше не нужно. Ты обещал.

— Я использовал не дар, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я использовал память. Я вспомнил имена. Я назвал их. И тени исчезли. Не Стекло победило — память. Моя память. Наша память. Та, которую мы носим в себе, даже когда не хотим помнить.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Ты жив, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на облегчение. Такое огромное, такое полное, такое абсолютное, что оно не помещалось в слова. — Ты жив, Эйнар. Этого достаточно.

Она взяла его за правую руку — живую, тёплую, покрытую пылью — и сжала. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

Часть пятая. Ночь после битвы

XV

Отряд разбил лагерь в конце ущелья, у выхода к скалам, где было открытое место, продуваемое всеми ветрами, но зато без зеркал на стенах. Костры разжигать не стали — боялись привлечь новых теней. Люди сидели в темноте, прижавшись друг к другу, и их дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Они не спали. Не могли. Слишком много страха, слишком много крови, слишком много потерь.

Трое убитых «Волков». Пятеро раненых. Ирис обходила их, промывала раны, накладывала повязки, вливала в рот настойки из сушёных трав. Скверна была остановлена — но не ушла. Она ждала. Как всё в этом мире. Как пустота. Как память.

Эйнар сидел у камня, чистил обсидиановый клинок. Пыль не прилипала к чёрной стали — она стряхивалась одним движением, как вода, как время, как забвение. Рядом с ним сидел Эйрик, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

— Ты спас нас, — сказал Эйрик, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не клинком — памятью. Я не знал, что так можно. Я думал, что единственный способ победить пустоту — это стать пустотой. Ты показал мне, что я ошибался.

— Я не спасал, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Я напомнил им, кто они. Кем были. Кем могли стать. Они не выдержали напоминания. Как Харальд. Как Торкель. Как все, кто смотрит в пустоту слишком долго.

— Ты не виноват, — сказал Эйрик, и он положил руку на плечо Эйнара — левое, с протезом, с металлическими кольцами внутри. — Ты делаешь то, что должен. Ты помнишь. А память — это не убийство. Это спасение. Медленное. Болезненное. Но спасение.

Эйнар не ответил. Не мог. Не хотел. Он смотрел на свои руки — правую, живую, сильную, и левую, скрытую протезом, который стал частью его, как память, как имя, как пустота, которая больше не звала.

XVI

Альрик подошёл к нему, когда луна скрылась за облаками и стало темно, как в Нижнем Колодце, как в пустоте, как в конце всего. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он держал в руке мешок с пылью Стекла — старый, кожаный, перетянутый ремнями. Мешок был открыт, и из него сочился слабый, голубоватый свет. Холодный. Пульсирующий. Живой.

— Ты использовал пыль, — сказал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Не всю — часть. Но достаточно, чтобы она проснулась. Она больше не молчит. Она поёт. Тихо. Далёко. Почти не слышно. Но поёт.

— Я знаю, — ответил Эйнар, и он взял мешок из рук Альрика. Пальцы встретили холод — не такой, как в Зеркальном Склепе, где холод был отсутствием тепла. Другой. Холод, который был присутствием чего-то другого. Чего-то, что было раньше. Чего-то, что помнило то, что забыли боги. Чего-то, что ждало своего часа. — Она поёт о тех, кого я помнил. О тех, кто ушёл. О тех, кто остался. О тех, кто ждёт.

— Что ты будешь с ней делать? — спросил Альрик, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость.

— Буду помнить, — ответил Эйнар, и он завязал мешок, спрятал его за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось. — Буду помнить, пока есть силы. Пока есть память. Пока есть имя.

XVII

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар сидел у камня, глядя на восток, туда, где за скалами, за горами, за перевалами ждал Чёрный Пик. Или то, что от него осталось. Ждал Корвус. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Он не знал, что будет. Не знал, выживет ли. Не знал, увидит ли завтрашний закат. Но знал, что завтра он снова возьмёт клинок и пойдёт вперёд. Потому что если не он — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что он — Эйнар. Зеркальный Пророк. И он не сдаётся.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль Стекла.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдаётся.

И этого было достаточно.

XVIII

За скалами, на востоке, там, где луна ещё не взошла, а звёзды уже погасли, мелькнула тень. Длинная, тонкая, с неестественными пропорциями. Она стояла на краю обрыва, глядя на лагерь, на Эйнара, на его спящую фигуру, на пыль Стекла, которая пульсировала у него за пазухой.

Она не двигалась. Не дышала. Не ждала. Она просто была. Как пустота. Как память. Как имя, которое исчезает.

А потом — она исчезла.

Растворилась в темноте. Стала ничем. Как и те, кому она принадлежала.

Только пыль на камне, серая, маслянистая, мёртвая, напоминала о том, что здесь кто-то был. Но пыль не пела. Она ждала. Как всегда. У неё было время. Вечность.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 4

ГЛАВА 5. ЯЗЫК

Часть первая. Трофей у скал

I

Лагерь проснулся не от крика — от холода. Не того, привычного, северного, который пробирается под одежду, как змея, и сворачивается кольцами у позвоночника. Холод был другим: глубинным, идущим не снаружи — изнутри. Из земли, из камней, из той самой чёрной, маслянистой трещины, которая разверзлась вчера в Ущелье трёх теней и из которой вырвалась тьма. Трещина затянулась ещё до того, как отряд выбрался на открытое место, но холод остался. Он лежал на дне лагеря, как туман, как предчувствие, как память о том, что пустота не умирает — она только ждёт.

Эйнар не спал. Он уже не спал третью ночь подряд, и это перестало быть событием — его бессонница стала такой же привычной, как тяжесть протеза на левом плече, как тихое, едва уловимое присутствие пыли Стекла в кожаном мешке за пазухой. Он сидел на плоском камне у потухшего костра, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и смотрел на восток. Небо там начинало светлеть — не рассветом, той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а тяжесть осталась. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тревожно. Не страх — предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Правая рука, живая, сильная, лежала на обсидиановом клинке, который он положил поперёк колен. Клинок был чёрным, маслянистым, почти не отражающим свет. Он не блестел в сером утреннем полумраке — он впитывал его, превращал в пустоту, в ожидание, в память. Эйнар провёл пальцами по лезвию — осторожно, почти нежно, как гладят спящего зверя. Металл был холодным, но не мёртвым. В нём, в этой черноте, в этой глубине, пульсировало

что-то живое. Не скверна — память. Память о вчерашнем бое, о двойниках, рассыпавшихся в пыль, о тенях, закричавших тишиной, когда он назвал имена.

Левая рука, скрытая протезом, покоилась на поясе рядом с пустыми ножами. Протез был старым, сделанным ещё в Тракте, когда они только вошли в город и Эйнар впервые понял, что левая рука не вернётся. Кожанный раструб с металлическими кольцами внутри, которые держали форму, и ремнями, которые крепились к плечу. Громоздкий, неудобный, но после сотен тренировок он стал почти родным. Вчера в бою он выдержал два прямых удара — кожа не порвалась, кольца не согнулись. Сегодня — неизвестно. Эйнар проверил ремни: дёрнул левым плечом, сжал культию, напряг остатки мышц. Протез сидел плотно, но не натирал. Хорошо. Достаточно.

Ирис спала в шатре в двадцати шагах от него. Эйнар слышал её дыхание — ровное, спокойное, почти механическое. Она не проснулась, когда он вышел. Не позвала. Не обняла во сне. Она спала так глубоко, как спят только люди, которые слишком долго не спали и наконец позволили себе усталость. Эйнар не стал её будить. Не имел права. Она перевязала семерых раненых после вчерашнего боя — пятерых своих, двоих из отряда Эйрика. Наложила швы. Собрала из остатков мази последнюю банку, ту самую, которую берегла для самых тяжёлых, для тех, от кого другие целители отказывались. Она отдала всё. Как всегда.

Альрик сидел у входа в шатёр, привалившись спиной к холодному камню, и дремал, вцепившись в мешок с пылью Стекла. Мешок был старым, кожаным, перетянутым ремнями, которые Альрик перевязывал каждое утро, проверяя, не ослабли ли. Внутри, в этой глубине, в этом ожидании, пульсировало что-то чёрное, маслянистое, живое. Пыль, которая была Стеком. Память, которая стала пылью. Песня, которая не замолкала до конца. Эйнар смотрел на мешок, и в его груди — там, где раньше билось сердце, а теперь пульсировала пустота, — что-то отозвалось. Не боль — резонанс. Как струна, когда рядом звучит та же нота. Как память, когда кто-то вспоминает то, что ты забыл. Как имя, когда кто-то произносит его шёпотом, в темноте, когда думает, что никто не слышит.

Сегодня пыль не пела. Она молчала. И это было хуже, чем песня.

II

Лис вернулась в лагерь, когда небо на востоке начало светлеть — не рассветом, а той бледной, болезненной желтизной, которая обещает тяжёлый день. Её шаги были бесшумными, но Эйнар почувствовал её присутствие ещё до того, как увидел. Что-то изменилось в воздухе. Появилась та особенная, звенящая нота, которая бывает, когда разведчик приносит не просто вести — когда он приносит живого.

Лис шла не одна.

За ней, спотыкаясь и едва волоча ноги, двигался человек. Он был высоким, но сутулым, одетым в рваную, прожжённую в нескольких местах одежду, которая когда-то была тёмно-зелёным плащом. Лицо его скрывала густая, спутанная борода, серая от пепла и времени. Голова была обмотана грязной тряпичей, насквозь пропитанной запёкшейся кровью. Левая нога волочилась — человек хромал, опираясь на грубую, самодельную клюку, вырезанную из кривой сосновой ветки. На поясе — пустые ножны. Ни оружия. Ни сумки. Ни имени.

Он не сопротивлялся. Не пытался бежать. Не просил пощады. Он просто шёл, потому что Лис вела его, а у неё была привычка: тех, кого она брала в плен, до лагеря доходили живые. Дальше — не её забота.

Лис остановилась в трёх шагах от Эйнар. Её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в сером предрассветном свете, как уголь, как лезвие, как надежда. На её лице не было усталости — было напряжение. То самое, которое бывает у зверя, когда он чувствует опасность, но не знает, откуда она придёт.

— Я нашла его у восточных скал, — сказала Лис, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Прятался в расщелине, за камнями. Не пытался убежать. Не прятал лица. Назвался Ормом. Сказал, что идёт с юга, что бежал от скверны, что ничего не знает о двойниках.

— Ты проверила его? — спросил Эйнар, не поднимаясь с камня.

— На скверну — да. Ткани чистые. Рана старая, не сегодняшняя. Зрачки живые. Тени нет. — Она помолчала, потом добавила тише: — Но я не доверяю ему, Эйнар. Слишком спокоен для беглеца. Слишком правильно смотрит. Как будто знал, что мы его найдём.

Эйнар поднялся. Ноги не дрожали. Спина не болела. Он чувствовал себя так, как не чувствовал себя много месяцев — с тех пор, как впервые коснулся Стекла и начал платить. Сегодня он не заплатил ничего. И это было главным. Он подошёл к пленному, остановился в шаге.

Человек поднял голову.

В его глазах — тёмных, глубоких, без точечных зрачков, без пустоты, без намёка на двойника — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Человеческий. Усталый. Почти смирившийся. Он смотрел на Эйнара, и в его взгляде не было узнавания — было ожидание. Как будто он ждал приговора.

— Ты Орм? — спросил Эйнар.

— Да, — ответил человек, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Орм, сын Олафа. Из южного Тракта. Я... я не враг. Я просто бежал. Три недели. Пешком. Без еды. Без оружия. Без надежды.

— От кого бежал? — спросила Лис, и её рука легла на рукоять ножа.

— От всего, — ответил Орм, и он опустился на колени — не в мольбе, от усталости. Его ноги не держали. Его руки дрожали. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали не голубые жилки — кровь. Живая, человеческая, тёплая кровь. — От скверны, которая пришла на юг. От теней, которые выходят из зеркал. От тех, кто забыл свои имена. Я не знаю, кто вы. Я знаю только, что вы живые. А живых в этих горах почти не осталось.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было жалости. Была осторожность. Холодная, тяжёлая, почти

невыносимая осторожность человека, который слишком много раз верил и слишком много раз ошибался.

— Развяжите его, — сказал он наконец. — Ирис обработает рану. А потом — поговорим.

III

Ирис вышла из шатра, когда Эйнар уже посадил Орма на камень у костра. Её лицо было бледным, почти прозрачным в сером утреннем свете, и под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни. Она не спала. Или спала, но сны были хуже, чем бодрствование. Но когда она увидела раненого, её лицо изменилось. Не страх — привычка. Она была целительницей. Целители не выбирают, кого лечить. Они лечат всех. Даже тех, кто может оказаться врагом.

Она подошла к Орму, опустилась на корточки. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже от высушенных трав и мазей — коснулись его лба. Кожа была горячей — лихорадка началась, тело боролось с заражением, но борьба была не проиграна. Она размотала грязную тряпицу с его головы. Под ней оказалась глубокая, но уже затягивающаяся рана — не свежая, дней десяти-двенадцати, с чёткими, ровными краями, как будто кто-то аккуратно провёл лезвием по коже, не задев кость. Рана была чистой — без гноя, без скверны, без того сладковатого, приторного запаха, который преследовал их от самого Чёрного Пика.

— Кто тебя ранил? — спросила Ирис, промывая рану тёплой водой из фляги.

— Не знаю, — ответил Орм, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Напали из темноты. Я даже не видел лица. Только блеск лезвия. А потом — темнота. Я очнулся в канаве, в крови, без оружия. И пошёл. Просто пошёл. Потому что если остановиться — умрёшь. А умирать не хотелось.

— У тебя нет скверны, — сказала Ирис, и это был не вопрос — утверждение. — Но ты нёс её. Я чувствую. Старая, выветрившаяся, почти мёртвая. Она была в твоей крови, но ты выжил. Не многие выживают.

— Я не знаю, как, — сказал Орм, и он опустил голову. Его плечи дрожали — не от холода, от того, что он сдерживал слёзы. Или не сдерживал — позволял им течь. Какая разница? — Я просто шёл. Может быть, у меня крепкое тело. Может быть, мне повезло. Может быть, пустота не хотела меня. Я не знаю. Я знаю только, что я жив. И что я хочу остаться живым.

Ирис наложила повязку — чистую, белую, пропитанную мазью из сушёных трав, которые она берегла для самых тяжёлых раненых. Повязка была белой, но она знала — через час она станет серой от пыли, через два — чёрной от грязи, через три — такой же, как всё вокруг. Пепельной. Мёртвой. Пустой. Но сейчас — сейчас она была чистой. И этого было достаточно.

Часть вторая. Слово, которое не отражается

IV

Эйнар приказал созвать совет через час, когда Ирис закончила перевязку, а Орму дали горячей каши и воды. Раненый ел медленно, осторожно, как едят люди, которые привыкли, что еда — это роскошь, которую могут отнять в любой момент. Его руки дрожали, но он не пролил ни капли. Не попросил добавки. Просто благодарно кивнул и отставил миску.

Совет собрался у потухшего костра, чтобы не привлекать внимания. Ворн, Рагнар, Лис, Эйрик, Ирис, Альрик. «Серые Волки» выставили двойные дозоры по периметру — на всякий случай. Орм сидел в стороне, под присмотром двух воинов, но на расстоянии, достаточном, чтобы не слышать, о чём говорят командиры.

— Я не доверяю ему, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. Его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щеку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. — Слишком гладко. Слишком вовремя. Слишком правильно. Мы только что вышли из ущелья, потеряли троих, перевязали пятерых — и тут же находим беглеца, который не знает о двойниках. Чудес не бывает.

— Я тоже не доверяю, — сказал Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Но я не вижу в нём скверны. Не вижу двойника. Не вижу тени. Может быть, он просто беглец. Может быть, ему повезло. Может быть, пустота оставила его в покое, потому что он недостаточно важен.

— Пустота не оставляет в покое, — сказал Эйрик, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. Он сидел в тени, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — была правда. Та самая, которую он нёс в себе десять лет, с тех пор как сбежал от Корвуса. — Я знаю. Я тоже был беглецом. Тоже шёл без оружия. Тоже не знал, кому верить. Но я не нашёл никого. Ни одного живого. Только пыль и тени. А он нашёл нас. Это не случайность. Это знак.

— Какой знак? — спросила Лис, и её единственный глаз сверкнул, как уголь, как лезвие, как надежда.

— Не знаю, — ответил Эйрик, и он покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально. — Может быть, пустота послала его, чтобы проверить нас. Может быть, мы сами послали его, потому что устали быть одни. Может быть, он просто человек, которому повезло. Я не знаю. Я только знаю, что мы не можем убить его только за то, что он пришёл.

Эйнар слушал молча, не перебивая, не задавая вопросов. Сидел на камне, его правая рука лежала на обсидиановом клинке, левая — на поясе, рядом с пустыми ножнами. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Я поговорю с ним сам, — сказал он наконец, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Без пыток. Без угроз. Без допроса. Просто поговорю. И тогда решу.

Эйнар сел напротив Орма, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, но не принеся тепла. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось спокойно. Не потому, что он был готов к бою, — потому, что он больше не боялся.

Орм смотрел на него с той смесью страха и надежды, которая бывает у людей, которые слишком долго были одни. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, человеческих — не было пустоты. Была усталость. Такая же, как у Эйнара. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Расскажи мне о себе, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не о том, как ты бежал. О том, кем ты был до этого.

Орм молчал. Долго. Так долго, что Лис, стоявшая в трёх шагах, начала считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом он медленно заговорил, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание.

— Я был охотником, — сказал он, и он посмотрел на свои руки — пустые, дрожащие, с мозолями на ладонях, которые помнили не меч — лук, нож, верёвку. — В Западном Домене, у границы леса. Я знал каждую тропу, каждый ручей, каждое дерево. Я жил один. Не потому, что не любил людей — потому, что люди не любили меня. Говорили, что я приношу несчастье. Что моя тень слишком длинная. Что мои глаза слишком пустые. Я не обращал внимания. Просто ушёл в лес. И жил там. Десять лет.

— А потом? — спросила Ирис, садясь рядом с Эйнаром.

— А потом пришла скверна, — ответил Орм, и его голос дрогнул — впервые за всё время, впервые с тех пор, как он заговорил. — Не сразу. Сначала — зеркала. Они почернели. В каждом доме, в каждой таверне, в каждом колодце, где была вода. Люди смотрели в них и не видели себя. Только тьму. Потом начали пропадать дети. Не все — те, кто смотрел в зеркала слишком долго. А потом пришли тени. Не те, которые нападают на людей. Другие. Тихие. Они ходили по деревьям, смотрели, запоминали. И исчезали. А после них — никого. Только пыль.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Люди переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на краю лагеря, перекликались часовые.

— Я собрал вещи и ушёл, — продолжал Орм, и его голос стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не на юг — на север. В горы. Туда, где, по слухам, не было зеркал. Я шёл три недели. Прятался днём, шёл ночью. Пил из ручьёв, ел коренья, спал на камнях. Я потерял счёт времени. Потерял счёт дней. Потерял надежду. А потом — нашёл ваши следы. И пошёл по ним. Потому что если идти не за кем — ты не человек. Ты — тень. А я не хотел быть тенью.

VI

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было жалости. Было понимание. Он знал, что такое идти одному. Знал, что такое терять надежду. Знал, что такое смотреть в пустоту и не отводить взгляд.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он.

Орм кивнул. Медленно, как кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Ты — Зеркальный Пророк, — сказал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как утверждение. — Я слышал о тебе. На юге. Люди шептались в тавернах, когда думали, что никто не слышит. Говорили, что ты разбил Стекло. Что ты победил Корвуса. Что ты закрыл дверь в пустоту. Я не знаю, правда ли это. Я знаю только, что ты — не тень. Твоя рука цела. Твои глаза живы. Твоя тень настоящая. Ты — человек. Я хочу идти с тобой. Не за наградой — за именем. За памятью. За надеждой.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Эйнар смотрел на него, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды. Не было усталости. Было что-то другое. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Ты останешься с нами, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не как пленник — как проводник. Ты знаешь эти горы. Ты знаешь тропы. Ты знаешь, где можно пройти незамеченными. Ты будешь идти в авангарде с Лис. Если ты предашь — она убьёт тебя. Если нет — ты дойдёшь с нами до конца. Согласен?

Орм смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Согласен, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я пойду с тобой. Не потому, что верю в победу. Потому, что устал быть один. Устал бояться. Устал забывать. Я пойду. И, может быть, умру. Но умру не один.

Часть третья. Тихий допрос

VII

Ворн и Рагнар не согласились с решением Эйнара. Они стояли у шатра, их лица были бледными, почти белыми, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Они не кричали. Не спорили. Они просто смотрели на Эйнара, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Сомнение.

— Ты не можешь взять его с собой, — сказал Ворн, и голос его был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Мы не знаем, кто он. Не знаем, откуда. Не знаем, кому служит. А если он предатель? Если он приведёт за собой двойников? Если он — приманка? Что тогда?

— Тогда мы умрём, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но мы умирали и раньше. И не от рук предателей — от собственного страха. Страх — вот настоящий предатель. Страх заставляет нас не доверять. Не верить. Не надеяться. А без надежды мы — пыль. Песня. Пустота.

Он замолчал. Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я не доверяю ему. Но я доверяю тебе. Если ты говоришь, что он нужен — значит, он нужен. Я не буду спорить.

VIII

Лис и Эйрик отвели Орма в сторону для «уточнения деталей». Эйнар не называл это допросом, но все понимали, что это допрос. Лис села напротив Орма, её единственный глаз сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Эйрик стоял за её спиной, опираясь на посох, и его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — было напряжение.

— Расскажи о Западном Домене, — сказала Лис, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — О дорогах. О лесах. О колодцах. О том, где скверна появилась впервые.

Орм рассказывал. Путался в датах, но точно помнил, где есть вода и где гниют мосты. Называл названия деревень, которые Эйрик слышал впервые, и те, которые знал по старым картам. Говорил о почерневших зеркалах, о пропавших детях, о тенях, которые ходили по деревьям, смотрели, запоминали и исчезали. Его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Ты не знаешь, кто напал на тебя? — спросил Эйрик, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую осторожность.

— Не знаю, — ответил Орм, и он покачал головой. — Я даже не видел лица. Только блеск лезвия. А потом — темнота. Я очнулся в канаве, в крови, без оружия. И пошёл. Просто пошёл. Потому что если остановиться — умрёшь.

— А если ты нёс скверну? — спросила Лис, и её единственный глаз сверкнул. — Если ты заразил нас?

— Я не знаю, нёс ли, — ответил Орм, и он опустил голову. Его плечи дрожали — не от холода, от того, что он сдерживал слёзы. — Я знаю только, что я жив. И что я хочу остаться живым.

Лис смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Орм, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я не верю тебе. Но я не убиваю тех, кому не верю. Я убиваю только предателей. Если ты предашь — я убью тебя. Не Эйнар. Не Ирис. Я. Своими руками. Своим ножом. Своей памятью. И не вспомню твоего имени. Потому что у меня нет времени на предателей. У меня есть только путь. И Стекло. И правда, которую я несу, как бремя.

Орм смотрел на неё, и в его глазах — тёмных, глубоких, человеческих — не было страха. Была благодарность. Немая, тяжёлая, почти болезненная.

— Спасибо, — прошептал он, и слово это прозвучало странно, чужеродно в этом месте, где благодарили только за кровь и жизнь, а за слова — никогда. — Я не подведу. Я не предам. Я буду идти до конца. Клянусь памятью своей жены.

IX

Ирис проверила вещи Орма, когда его увели в сторону. Они лежали в старой, потрёпанной сумке, которую он носил через плечо: ржавый нож, огниво, кусок старой, почти рассыпающейся карты на бересте, завернутый в промасленную тряпицу, чтобы не промокла. Ирис развернула карту, поднесла к свету.

На бересте были нанесены очертания гор — грубо, схематично, но узнаваемо. Эйнар, подошедший сзади, узнал это место. Те самые скалы, куда вчера привёл их Эйрик. Старое убежище изгнанников. Место, где, по слухам, не было зеркал.

— Откуда у тебя это? — спросил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Нашёл, — ответил Орм, и он не отвёл взгляд. — В развалинах старой сторожки, в горах. Там были вещи. Мёртвых. Или тех, кто ушёл. Я не знаю. Я взял карту, потому что думал, что она поможет. Она не помогла. Я всё равно заблудился.

Эйнар смотрел на карту долго, изучающе. Почему-то этот почерк казался ему знакомым. Кто-то из бывших разведчиков Корвуса? Или сам Корвус? Или кто-то древнее, кто помнил эти горы ещё до того, как пустота пришла в мир? Он не знал. Не хотел знать.

— Оставь её себе, — сказал он, возвращая карту. — Она может пригодиться.

Часть четвёртая. След в убежище

X

Отряд двинулся в путь через час, когда солнце поднялось выше, разогнав утренний туман, но не принеся тепла. Орм шёл в авангарде, рядом с Лис, и его шаги были неуверенными, но он не жаловался. Не просил остановиться. Не просил помощи. Он шёл, потому что если остановиться — умрёшь. А умирать он не хотел.

Эйнар шёл вторым, за ним — Ирис, Альрик, «Серые Волки». Они спускались в расщелину, которую Орм указал на карте, туда, где за скалами, по его словам, было убежище, в котором не было зеркал.

Тропа была узкой, скользкой, вырубленной прямо в толще скалы. Ступени стёрлись от времени, покрытые чёрной, маслянистой пылью, которая не смывалась и не сдувалась — только впитывалась в кожу, в одежду, в память. Справа и слева — чёрные, маслянистые стены, блестящие в свете факелов, которые зажгли «Волки», потому что дневной свет сюда почти не проникал. Сверху — узкая, дрожащая щель, похожая на трещину в старом, зажившем стекле. Снизу — темнота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Эйнар не смотрел вниз. Он знал, что если посмотрит — увидит не камни. Увидит пустоту. Ту самую, которая жила в нём с рождения. Которая ждала. Которая требовала. Но теперь пустота молчала. Не звала. Не шептала. Не пела. Она просто была. Как память. Как имя. Как прошлое, которое не вернуть.

XI

Вход в убежище оказался узкой, почти незаметной трещиной в скале, заваленной камнями. Орм показал старую лазейку — можно было пройти только по одному, пригибаясь и протискиваясь боком, царапая спину об острые выступы.

— Я не пойду туда, — сказал Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную осторожность. — Это ловушка. Слишком узко. Слишком темно. Если они ждут нас там — мы не сможем ни защититься, ни отступить.

— Я пойду, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я, Лис, Эйрик и Орм. Остальные — в лагере, в обороне. Если мы не вернёмся через час — уходите на север. Не ждите. Не ищите. Не надейтесь.

— Я пойду с тобой, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую решимость.

— Нет, — сказал Эйнар, и он посмотрел на неё. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — была просьба. Не приказ — просьба. — Ты нужна здесь. Раненым. Альрику. Тем, кто остаётся. Ты — целительница. Твоё дело — лечить. Моё — идти.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать. Она не сказала «будь осторожен». Не сказала «возвращайся». Не сказала «я люблю тебя». Она просто сжала его правую руку — живую, тёплую, настоящую — и не отпускала. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

XII

Внутри убежища было холодно, сухо и темно. Не той темнотой, которая давит на уши и заставляет сердце биться чаще, а другой — пустой, абсолютной, как в Зеркальном Склепе, как в зале Хранителя, как в пустоте. Факелы горели тускло, их свет впитывался в стены, не отражаясь, не давая теней. На стенах были вырезаны руны — старые, почти стёртые, покрытые чёрной, маслянистой пылью, которая не смывалась и не сдувалась.

Эйрик подошёл к стене, провёл пальцами по рунам. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он читал медленно, шевеля губами, вспоминая язык, который не использовал десять лет.

— «Здесь нет отражений», — перевёл он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — «Здесь нет пустоты. Здесь только помнят».

— Кто это написал? — спросила Лис, и её единственный глаз сверкал в свете факелов, как уголь, как лезвие, как надежда.

— Не знаю, — ответил Эйрик, и он покачал головой. — Может быть, изгнанники. Может быть, те, кто был до них. Может быть, сам Корвус, когда ещё был человеком. Я не знаю. Я знаю только, что это место старое. Очень старое. Старше, чем любой из нас.

В центре зала, на каменном постаменте, был колодец. Не глубокий — аршина два в диаметре, с чёрной, маслянистой водой, которая не отражала свет. В ней, в этой глубине, в этом ожидании, не было ничего. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Эйнар подошёл к колодцу, остановился в шаге. Коснулся края рукой — правой, живой, сильной. Камень был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота.

Из глубины потянуло тьмой. Не скверной — пустотой более древней, чем Корвус, чем Стекло, чем Наблюдатель. Она была здесь всегда. Она ждала. У неё было время. Вечность.

Часть пятая. Язык, который заговорил

XIII

Орм стоял у колодца, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, человеческих — не было страха. Была пустота. Такая же, как в колодце. Такая же древняя. Такая же голодная.

— Они сказали мне передать, — произнёс он, и голос его был чужим, не его — древним, усталым, почти беззвучным, — что ты должен прийти. Что дверь открыта. Что они ждут.

Лис шагнула вперёд, её нож блеснул в свете факелов, готовая ударить, резать, остановить. Но Эйнар поднял руку — левую, с протезом, с металлическими кольцами внутри, — и она замерла.

— Не трогай, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Это не он говорит. Это пустота. Она использует его. Как использовала Корвуса. Как использовала меня. Она ищет голос. И нашла.

Орм тряхнул головой, как очнувшийся от глубокого сна. Его глаза стали живыми, человеческими, полными ужаса. Он посмотрел на свои руки — пустые, дрожащие, — потом на Эйнара.

— Что... что я сказал? — прошептал он, и голос его дрожал — от страха, от усталости, от того, что он не мог остановиться. — Я не помню. Я ничего не помню. Я... я чувствовал, как кто-то говорил моим ртом. Как кто-то смотрел моими глазами. Как кто-то дышал моими лёгкими. Это... это пустота? Она... она во мне?

— Она была в тебе, — сказал Эйнар, и он опустил на корточки перед Ормом. Посмотрел в его глаза — тёмные, глубокие, человеческие, полные страха и надежды. — Но теперь она ушла. Или не ушла — замолчала. Или не замолчала — ждёт. Какая разница? Ты жив. Ты помнишь. Ты — человек. Этого достаточно.

Он достал из-за пазухи мешок с пылью Стекла. Кожаный, старый, перетянутый ремнями. Пыль запела — впервые за последние дни. Громко, отчаянно, почти болезненно. Пыль пела о том, кто говорил голосом чужого языка. О том, кто не сдался. О том, кто помнил.

XIV

Из колодца поднялся не туман — голос. Древний, усталый, без злобы, без угрозы, без надежды.

— Ты взял язык, — сказал голос, и каждое слово было как капля воды, падающая в тёмный, глубокий колодец, — ты слышишь звук, но не знаешь, где дно. — Теперь ты должен говорить. Не мне — тем, кто идёт за тобой. Тем, кто ещё помнит. Тем, кто ещё надеется. Ты — Зеркальный Пророк. Твоё слово — это память. Твоё имя — это правда. Твоя пустота — это дверь. Не открывай её. Не закрывай. Просто смотри.

Голос замолк. Тишина стала плотной, как смола. Колодец затянулся каменной коркой — чёрной, маслянистой, мёртвой. Вода исчезла. Пустота исчезла. Только пыль на камне, серая, маслянистая, мёртвая, напоминала о том, что здесь кто-то был.

Эйрик стоял у стены, опираясь на посох, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — тёмных, живых, человеческих — было что-то, чего никто не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Благоговение.

— Я никогда не слышал такого, — сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание. — Даже Корвус не мог говорить с пустотой. Он только служил ей. А ты... ты говоришь с ней. Как с равным. Как с человеком. Как с памятью.

— Я не говорю с ней, — ответил Эйнар, и он поднялся, спрятал мешок с пылью за пазуху. — Я помню её. А память — это не разговор. Это свидетельство.

XV

Орм сел на пол, прислонившись спиной к холодному, шершавому камню, и его лицо было мокрым от слёз. Он не вытирал их. Не прятал. Не стыдился. Он плакал от того, что впервые за много лет почувствовал не страх — присутствие. Не одиночество — память. Не пустоту — имя.

— Я не знал, что она во мне, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как исповедь. — Я не знал, что она говорит моим голосом. Я думал, что я просто бегу. Просто прячусь. Просто выживаю. А я... я нёс её. Как вы носите Стекло. Как он нёс пустоту. Я — язык. Я — тот, через кого она говорит.

— Ты был языком, — сказал Эйнар, и он опустился на колени перед Ормом. Посмотрел в его глаза — тёмные, глубокие, человеческие, полные слёз и надежды. — Но теперь ты свободен. Она ушла. Или не ушла — замолчала. Или не замолчала — устала. Какая разница? Ты жив. Ты помнишь. Ты — человек. Этого достаточно.

Он протянул руку — правую, живую, сильную, с длинными, сбитыми в костяшках пальцами. Орм смотрел на неё долго, изучающе. Потом медленно взял. Пальцы их встретились — живые, тёплые, настоящие. Эйнар помог ему подняться.

— Ты идёшь с нами, — сказал он, и это был не вопрос — приказ. — Не как язык. Как человек. Как Орм, сын Олафа. Как тот, кто помнит. Как тот, кто не сдаётся.

Орм смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Я иду, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Не за мстью. Не за правдой. За собой. За тем, кем я стал. За тем, кем я могу стать. Я иду.

Часть шестая. Ночь после откровения

XVI

В лагере их ждали. Ворн и Рагнар стояли у входа в шатёр, их лица были бледными, почти белыми, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Они не задавали вопросов. Не требовали отчётов. Они просто смотрели на Эйнара, на Орма, на пыль Стекла, которая пульсировала за пазухой, и ждали.

— Он остаётся, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Он не враг. Не лазутчик. Не предатель. Он — язык, через который пустота говорила. Но теперь пустота молчит. Или не молчит — ждёт. Какая разница? Он — человек. Он будет идти с нами.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я не верю ему. Но я верю тебе. Если ты говоришь, что он нужен — значит, он нужен. Я не буду спорить.

XVII

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар сидел у костра, глядя на угли, и слушал тишину. Пыль Стекла в мешке за пазухой не пела. Она молчала. И это было хорошо.

Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она не спала. Не могла. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

— Ты веришь ему? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Я верю не ему, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную уверенность. — Я верю тому, что он сделал. Он пришёл к нам. Не прятался. Не бежал. Не лгал. Он рассказал всё, что знал. И даже то, чего не знал. Он — язык. А язык не лжёт. Он только говорит. Или молчит. Какая разница?

— А если заговорит снова? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду.

— Тогда я отвечу, — сказал Эйнар, и он сжал её руку — правую, живую, тёплую. — Я отвечу, как отвечал всегда. Памятью. Именем. Правдой.

XVIII

Орм лежал в шатре, не спал. Смотрел в тёмное, звёздное небо через узкую щель в брезенте, и в его глазах — тёмных, глубоких, человеческих — не было страха. Была надежда. Хрупкая, тонкая, почти невидимая, как трещина в Первом Зеркале, но она была. Которая держала его. Которая не давала ему упасть.

Он шептал имя своей жены — Эльза, Эльза, Эльза, — как молитву, как проклятие, как надежду. Он не знал, жива ли она. Не знал, помнит ли она его. Не знал, узнает ли, если они встретятся. Он знал только, что он должен идти. Должен помнить. Должен надеяться.

Лис, сидевшая на страже в двадцати шагах от шатра, слышала это имя и запоминала. Не из доверия — из привычки помнить. Чтобы потом, если Орм окажется предателем, не искать врага там, где его нет. Чтобы знать, что у каждого живого есть имя. И память. И надежда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.